

Горький в родном городе

В. Блохина, Л. Либединская

Гос. изд-во художественной литературы, М., 1957 г.

Люблю нижегородцев,— хороший народ!» — писал Алексей Максимович Горький на склоне лет.

Нижний Новгород!

Здесь, в городе, раскинувшемся на высоких волжских берегах, он родился. Здесь, как «суровая сказка», промелькнуло его детство.

Прошла «в людях» нелегкая трудовая юность. Почти двадцать пять лет — больше трети своей жизни — прожил Алексей Максимович в Нижнем Новгороде. Здесь «всем своим трепетом» возненавидел мещанскую жизнь.

И хотя первое произведение Максима Горького — рассказ «Макар Чудра» был опубликован в тифлисской газете «Кавказ», Нижний Новгород можно со всей ответственностью назвать и писательской родиной Горького.

Здесь познакомился он с В. Г. Короленко, ставшим его первым литературным наставником. Здесь при живом участии Короленко им написан рассказ «Челкаш», с опубликованием которого Горький входит в большую литературу.

Здесь созданы многие произведения Горького, завоевавшие мировую известность: «Старуха Изергиль», «Коновалов», «Горемыка Павел», «Фома Гордеев», «Мещане», «На дне», «Песня о Буревестнике», — да разве все перечислишь!

Многие люди и события Нижнего Новгорода запечатлены на страницах горьковских книг.

Игоша Смерть в Кармане, один из персонажей повести «Детство», — дурачок Нижнего;

Гришка Челкаш — так звали птицелова в Канавине; Коновалов — муромский пекарь.

Есть нижегородские прототипы в повести «Фома Гордеев», в пьесах «Васса Железнова» и «Егор Булычов», в романе «Жизнь Клима Самгина».

Сормовскую демонстрацию и суд над революционерами-сормовичами — Заломовым и его товарищами — описал Максим Горький в повести «Мать».

В 1900 году Антон Павлович Чехов писал Алексею Максимовичу:

«...Зачем Вы сидите в Нижнем? Зачем? Что Вам в этом Нижнем?.. Какая смола приклеила Вас к этому городу?.. Отчего Вы не живете в Москве?»

Звал Горького в Москву и Леонид Андреев:

«Жить можно только в Москве, уезжай отсюда».

Но Алексей Максимович любил свой древний город. В одном из писем в Петербург он пишет:

«Вам, в туманном Вашем городе, не видно, как быстро жизнь идет вперед, не видать, как растет человек и крепнет дух его и возвышается чувство собственного достоинства в нем.

Здесь — это яснее. И как я рад, что живу здесь, а что Вы там — жаль».

Уже в те годы Нижний Новгород был одним из крупнейших промышленных и торговых центров России.

Здесь находились большие заводы — Сормовский и Курбатовский. Сюда со всего Поволжья плыли баржи с зерном, потому что Нижний был еще и одним из центров мукомольной промышленности.

Сотни пароходов, принадлежащих купцам-миллионерам, бороздили волжские воды.

Нижний — крупный центр судостроительной промышленности.

Сюда на «всемирное торжище» — нижегородскую ярмарку — съезжались купцы, дельцы и маклеры со всего мира.

Здесь «со сказочной быстротой создавались миллионные состояния», «железные» люди ковали деньги.

А рядом — нищета. Жестокая, страшная. На пристанях тысячи вчерашних бурлаков — матросы и грузчики — влачили жалкое, полуголодное существование. И всюду «комариная жизнь обыкновенных людей», «отвратительная жизнь» мещанства.

За Волгой — глухие села старообрядцев, темная крестьянская Россия...

Но шла в Нижнем Новгороде и жизнь иная.

Сюда, в Нижний, царское правительство ссылало вольнодумных студентов из Москвы и Петербурга, Казани и Дерпта. К ним тянулось все лучшее, что было среди нижегородской молодежи.

И еще была в Нижнем большая группа прогрессивной интеллигенции, учителя, целая писательская колония,- тоже из бывших, издавались в Нижнем Новгороде две крупные газеты - «Волгарь» и «расчудесная», как называл ее Алексей Максимович, газета «Нижегодский листок».

В родном городе столкнулся Горький лицом к лицу с действительной, невыдуманной жизнью. Он с головой окунается в эту жизнь.

В 1900 году он пишет доктору Средину:

«Устрою здесь общество попечения о бедных детях, когда кончим с возникающим обществом дешевых квартир для рабочих».

А через несколько дней пишет Чехову:

«Сейчас отправил в Питер на утверждение «Устав Нижегородского общества любителей художеств». Устраиваем «Общество дешевых квартир». Все это — заплаты на трещину души, желающей жить».

Горький отчетливо понимал: один человек ничего не может изменить в страшной российской действительности. Но для него жить — это значило действовать. И потому все шире становится круг его деятельности. Он снабжает книгами молодежь.

Горький отправляет книги в Иркутскую губернию, ссыльным нижегородским студентам. Пересылает библиотеку в Дерптский университет для студентов-нижегородцев. Два ящика с книгами послано в арзамасскую Некрасовскую читальню. Семьсот книг жертвует Нижегородской городской библиотеке.

Пусть книги несут свет в самые глухие углы России. Пусть будят мысль, зовут к борьбе. К нему приходит поэт из народа — Николай Новиков. К нему идет юноша революционер Яков Свердлов.

«Собираю, посылаю, встречаю, направляю, провожаю»,— писал он друзьям.

В начале 1901 года жандармы установили связь Горького с марксистской группой «Искра».

А в октябре 1902 года московский корреспондент газеты «Искра» писал Ленину в Нюрнберг, что все симпатии Максима Горького на стороне «Искры», что он хочет помочь организации всем, чем только может, и будет давать ежегодно пять тысяч рублей.

Ленин и Крупская отвечали:

«Все, что Вы сообщаете о Горьком, очень приятно, тем более, что деньги страшно нужны».

«В 1903 году я постиг, что Человек с большой буквы воплощается в большевиках во главе с Лениным...» — напишет впоследствии Горький, вспоминая об этом времени. Через всю жизнь пронес Алексей Максимович любовь к родному городу, а расставаясь, бережно хранил в сердце благодарную память о нем.

В этой книге мы хотим рассказать, как жил Алексей Максимович Горький в 1896—1904 годах в Нижнем Новгороде. О том, каким был этот город. О его нравах и людях. О тех истоках, из которых рождались горьковские книги.

Снова домой!

Пароход все плывет и плывет — медленно и величественно-плавно. Широка Волга в мае! Еще не спали весенние воды, и кажется, река дышит полной грудью. Идет весна 1896 года...

Высокий худой человек часами стоит на палубе и, облокотившись на перила, не сводит глаз с проплывающих берегов.

Левый — низкий, залитый солнцем,— стелется без конца и края, словно яркий зеленый ковер. Правый — тянет к небу свои обрывистые кручи, черной тенью отражаясь в воде. Невозможно уйти в каюту! Есть что-то завораживающее в этом движении берегов. Над пароходом ясное небо. Все выше поднимается солнце, обдавая палубу теплыми майскими лучами, а потом медленно скатывается к горизонту, и на пароход приходит прохлада.

Острее становятся запахи трав, воды, листьев. Сменяя солнце, поднимается на небо

серебристый шар луны, заливая все неживым блестящим светом.

Где-то в прибрежных рощах щелкает соловей. Ему откликается другой, третий... И вот уже все вокруг напоено раскатистым звоном. Снова невозможно уйти в каюту. Холодок пробирает до костей, и даже широкий плащ-накидка не защищает от ночной прохлады... Люди, проходя по палубе, с любопытством поглядывают на высокого человека. Они еще не знают, что пройдет несколько лет и его имя станет известно всей России,— ведь им уже написаны «Челкаш» и «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «Макар Чудра», «Емельян Пиляй», «Дед Архип и Ленька».

Который раз подъезжает Алексей Максимович к родному городу. Сколько раз возвращался он сюда после долгих и трудных странствий и, казалось бы, уже пора привыкнуть к этим встречам, а вот каждый раз так волнуется, словно впервые видит нижегородскую землю.

Из глубины души поднимаются воспоминания, доносятся голоса людей, давно ушедших, громче бьется сердце, и слезы застилают глаза.

На этот раз Горький едет в Нижний из Самары, где в «Самарской газете» вел обозрение провинциальной печати и писал фельетоны под псевдонимом «Иегудиил Хламида». По поручению газеты «Одесские новости» он будет писать очерки о промышленно-художественной выставке, которая в этом году открывается в Нижнем.

Нижний Новгород! Вот он возник на мохнатой горе, город в садах. Дома поднимаются по склону пестрой толпой, все выше и выше. На самом гребне они вытягиваются в ровную линию и гордо смотрят через реку.

Деревья одевают дома и церкви теплой зеленой шубой. Краснеет кирпичный Кремль. Золотые кресты и купола поблескивают в высоком небе.

На набережной и пристани, как всегда, торопливо и шумно. Грохочут телеги, гудит толпа, ревут пароходные гудки. С разных сторон доносится то заунывная, то задорная «Дубинушка». Медленно, согнувшись под тяжестью ноши, проходят крючники.

Пароход, грузно и неповоротливо разворачиваясь, притирается к пристани.

Попрощавшись с капитаном — старым волгарем Евгением Ивановичем Козловым,— Алексей Максимович легким нетерпеливым шагом сбегал на берег по деревянному трапу...

Шестнадцатая всероссийская выставка

Уже много дней живет Алексей Максимович в родном городе. Утро начинается с того, что он едет на выставку.

Алексею Максимовичу хорошо знаком огромный пустырь за Канавином, где идут приготовления к открытию выставки. Всегда это было одним из самых грязных и неприятных мест в городе. Но вот, оказывается, что могут сделать умные человеческие руки...

Часами бродил Горький в зеленом парке, словно по мановению волшебного жезла возникшем на пустыре и свалке. Одних дорожек проложили около трехсот тысяч квадратных метров.

Благоухали цветы, зеленели декоративные кустарники, прохладой тянуло от выкопанных и наполненных прозрачной водой прудов. Лебеди, как маленькие белые паруса, скользили по зеркальной поверхности.

Самый большой пруд — у входа. Он украшен фонтанами. Мощные струи воды, сверкая на солнце веселой радугой, искрились и переливались, обдавая вошедшего водяной пылью.

А по вечерам двести пятьдесят дуговых электрических фонарей, словно искусственные луны, загорались над выставкой, освещая ее призрачным матовым светом.

Алексей Максимович ходил из павильона в павильон, беседовал и с хозяевами выставки, и с теми, кто трудился на строительстве, и просто с праздными зеваками, пришедшими поглядеть на невиданное зрелище. Листки тетрадей и блокнотов заполнялись круглыми четкими буквами...

Поглядеть будет на что! Нынешняя выставка — дело до сей поры в России не виданное. Хоть это и Шестнадцатая всероссийская промышленно-художественная выставка, однако нынче все необычно. Пятнадцать предыдущих выставок проводились в столицах —

Москве или Петербурге. А эта — в Нижнем. Горды нижегородские купцы: выбор места еще раз свидетельствует, что Нижний Новгород — главный купеческий город России. К открытию выставки Нижний Новгород получил трамвай. Скорость вагончиков не превышала десяти верст в час, но и она казалась горожанам опасной.

Часто возникали ссоры между кондуктором и публикой. Публика требовала, чтобы трамвай останавливался по первому требованию, там, где пассажиру нужно выйти. Нередко вагон соскакивал с рельсов. Тогда пассажиры выходили из вагона и водружали его на место общими силами.

На поворотах вагончик частенько опрокидывался набок. Обыкновенно обходилось без несчастных случаев, но все же газетный репортер, прибегавший на место происшествия, справлялся на всякий случай у ближайшего блюстителя порядка, нет ли увечий или смерти. На что получал трафаретный ответ: «Никак нет! Все упали благополучно!» Наконец наступил торжественный день открытия выставки. И уже на следующий день газеты на все лады восхваляли ее разнообразную оригинальную архитектуру. Угодливые корреспонденты, не жалея красок, расписывали «грандиозное, невиданное зрелище». Зрелище и вправду было грандиозное, но подчас такое безвкусное! Большинство павильонов строилось по проектам видных профессоров и академиков архитектуры. Оформлением павильонов занимались лучшие художники. Но Алексей Максимович хорошо знал, по чьему заказу все это делалось.

По заказу купцов и промышленников. Откуда тут взяться хорошему вкусу! И каким диссонансом в этом хвалебном хоре звучал первый очерк Горького, напечатанный в газете за несколько дней до открытия выставки.

«Со всех сторон вас окружают разные архитектурные деликатесы, всюду много стиля, много красоты, из хаоса то и дело возрождаются различные возбуждающие изумление диковинки,— а между ними, на той же самой земле, на которой стоят и они, вздымая свои красивые купола к небу,— согнувшись в три погибели, грязные и облитые потом рабочие возят на деревянных тачках и носят «на хребтах» десятипудовые ящики с экспонатами... Неприятно видеть на художественно-промышленной выставке — выставку изнурительного поденного труда чернорабочих. Это портит общий ансамбль праздника промышленности и даже как бы иронизирует над праздником.

Не эстетично, знаете ли, видеть у подножия архитектурных шедевров, гордо поднимающих свои разноцветные кружевные купола к небесам,— к небесам же обращенную в три дуги согнутую спину, пышущую испарениями далеко не ароматными, покрытую грязными лохмотьями и, кажется, даже тихонько поскрипывающую от натуги». А его коллеги журналисты в это же время каждый на свой манер превозносили могущество русского капитала, пророчили ему быстрый и блестящий расцвет. А о тех, кто день и ночь, не разгибая спины, трудился на фабриках, заводах, в шахтах, — о рабочем человеке — ни слова!

Выставку опоясывала кольцевая электрическая дорога. Вагоны доставляли посетителей из одного павильона в другой — их на выставке сто семьдесят два!

Больше тридцати ресторанов, кафе, кабачков гостеприимно встречали посетителей. В центре выставки великолепное сооружение: павильон для «отдохновения государя императора и его августейшего семейства». С высокой башни открывалась широкая панорама всей выставки. В павильоне приемный зал в русском вкусе, кабинет царя в стиле мавританском и кабинет царицы в стиле Людовика XV.

Царь пробыл в этом павильоне всего-то около трех часов, а на постройку его затратили десятки тысяч рублей.

В устройстве выставки приняли участие не только замечательные художники и архитекторы, но и крупнейшие ученые: Менделеев, Тимирязев, Докучаев, Попов.

А. С. Попов демонстрировал сконструированный им прибор для записи электрических разрядов в атмосфере. К. А. Тимирязев ставил опыты в теплицах. Ф. Блинов показал первый в мире самоходный трактор.

Много диковинок на выставке!

Привезены в Нижний одиннадцатисажженная миноноска, шар-аэростат, почетные ветераны русского флота — «Верейка» и «Плезир», — яхты, построенные Петром I, модель катера, на котором Екатерина II совершала путешествие по Волге.

Сооружены громадные аквариумы, длиной до четырех метров, в которых плавают

речные и морские рыбы.

В громадном стеклянном баке, наполненном водой, нижегородцы впервые увидели водолаза.

В бассейне дрессированный морж Васька, коверкая, выкрикивал слова: «папа», «мама» и «ура».

А самодвижущийся экипаж под названием автомобиль!

И еще достопримечательность: десять купеческих сыновей, разодетые в древнерусские костюмы великокняжеских и царских телохранителей и оруженосцев. Белые кафтаны шиты золотом, белые головные уборы украшены драгоценными Камнями. На ногах красные сафьяновые сапоги, а в руках секиры, разрисованные славянским орнаментом. Костюмы исполнены по эскизам художника Васнецова.

Купеческим сыновьям выпала честь охранять самого государя императора. Они волновались и краснели, неловко наступая на шлейфы придворных дам, звенели секирами, но несли свою службу верноподданно.

Пожалуй, самое большое впечатление на посетителей произвел синематограф Люмьера. Конечно, для нас ничего удивительного в этом не было бы — ведь кино стало неотъемлемой частью нашего быта. Но зрителям минувшего века синематограф казался чудом.

На большом экране — нам бы он показался маленьким: аршина два с половиной длины и полтора в высоту — вдруг возникали самые разнообразные картины. Парижская улица — экипажи, дети, пешеходы. И люди и предметы в одну десятую натуральной величины. Сначала все неподвижно, но вдруг щелчок — и экипажи прямо с экрана катятся на зрителя, пешеходы оживают, дети гоняются за собачкой. Или такая картина: садовник поливает цветы из шланга, струи воды падают на деревья, на клумбы, ветки, листья, цветы колыхаются под брызгами...

А то вдруг на экране поезд, он набирает скорость и мчится прямо в зрительный зал — берегитесь!

Чего только не увидишь на выставке! Даже даму с бородой. Специальное свидетельство удостоверяло, что борода у нее настоящая, «не фальсифицированная». Чтобы поглядеть на даму, надо было заплатить гривенник. Но потом с радостью заплатишь еще рубль, лишь бы ее никогда не видеть — так страшна!

Вызывал изумление посетителей оркестр — «убежище для нищих детей».

С горечью и грустью глядел Алексей Максимович на это зрелище. Малютки оркестранты играли на барабанах и на кларнетах, дули в большие медные трубы. А один из детей, совсем маленький мальчик, четыре часа подряд играл на пикколо-флейте, а когда, вконец измученный, опустился на стул, голова его оказалась ниже пюпитра. Для этого крошки даже пюпитра по его росту не удосужились сделать!

«Бедные дети,— с сожалением думал Алексей Максимович.— И они должны увеселять своей музыкой и без того пресыщенное развлечениями общество...»

И он спрашивал себя: «Где же развлечения разумные, поучающие и воспитывающие ум и душу?»

Возвращаясь домой, он по вечерам перебирал записи, сделанные за день.

«На выставке забыт стомиллионный, неумытый, добрый и грубый, сильный и усталый народ...» — думал он.

Один из дней Алексей Максимович с утра до вечера провел в машинном павильоне — гигантском сооружении из красных медных труб. Вот где можно было увидеть чудеса из металла!

Паровой молот, невиданных размеров аппарат для сахароварения, лесопильный станок с большими стальными зубьями, опутанная шерстью чесальная машина - Алексей Максимович медленно шел по павильону.

Человек — творец и хозяин этих металлических чудес — ползал вокруг своих стальных созданий, выпачканный в машинном масле, в поту, с грязной тряпкой в руках. Как он жалок и ничтожен в сравнении с блестящими, сильными, красивыми станками, созданными для облегчения труда и жизни людей.

Людей? Но каких людей? Неужели вот этих, измученных, неразговорчивых, с черными лицами? Оборванные, грязные, они молча поили маслом маленькие части машин. Они стирали с них пыль и грязь куда чаще, чем пот со своих усталых лиц. И чувство обиды за

человека вытесняло из его сердца удивление и восхищение перед машинами...

В павильоне «нефтяных королей» — макеты и модели заводов, пристаней и целых флотилий, перевозящих нефть. Аппарат для бурения нефти. Образцы продуктов из нефти. Диаграммы добычи нефти в миллионах пудов и рублей.

А вот о том, как трудятся рабочие на нефтяных промыслах, нигде ни слова.

Алексей Максимович вспоминал свои странствия по Кавказу. Грязь, дичь и скверна бакинских промыслов. Пыль и песок на улицах Баку, этого незабываемого, единственного в мире города, подковой раскинувшегося по берегу Каспия. Но, видно, хозяева города слишком глубоко были погружены в заботы о собственном кармане и потому не желали уделять городу ни внимания, ни денег...

Разноцветный грот, сложенный из сорока четырех пород камней,— павильон «Сибирь».

Над гротом каменный орел держит в лапах медальон с портретом Александра III, выполненный из русской яшмы. Вазы, кубки и всевозможные безделушки из драгоценных камней — огромные и совсем маленькие, тонкие и прозрачные.

Кто они, эти художники, режущие из камня цветы и кружева, способные придать твердому камню воздушные формы? Ничего не рассказывает выставка об этих людях!

Рельефные карты, на которых шариками из золота, серебра, каменного угля и ярких разноцветных камешков отмечены залежи полезных ископаемых. Таблицы добычи золота, начиная с 1835 года.

Но кто, чем и как вытащил из земли эти десять тысяч пудов золота? Кто принес государству за тридцать лет почти триста миллионов золотых рублей, не считая серебряных и медных? Как они это делают? Как живут?

И снова молчат стенды...

И еще одно оскорбляло Алексея Максимовича. Почему везде и всюду Запад выступает в роли нашего учителя... Французы, англичане, немцы: Лильпоп, Бромлей, Поле, Орицнер и Гампер, Лист, Борман и Шведе, Пфор, Реппган... Почему нет на выставке трудов наших, русских ученых, изобретателей? А ведь какой-то, кажется, Людвиг Цоп вырабатывает железо по системе инженера Артемьева!

И как же радостно было Алексею Максимовичу прочесть в статье великого русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева:

«...Не дожить мне до той выставки, которая покажет такой новый скачок русской исторической жизни, при котором свои Ползуновы, Петровы, Шиллинги, Яблочковы, Лодыгины не будут пропадать, а станут во главе русского и всемирного промышленного успеха...

Верю в то, что наши дети увидят Всероссийскую выставку, которая будет иметь значение всемирной, где русский гений реально встанет не в уровень, а впереди своего века...

Там, впереди, не только мир, соединение Востока с Западом и усиление мирового значения России, но и торжество русского гения на пути промышленного прогресса, а вместе с тем богатство и могущество русского народа».

Нет, никогда не иссякнет талантами щедрая и могучая русская земля!

Лучшее тому свидетельство — кустарный отдел. Вот она, оригинальная, самобытная Россия! Как ярки и чисты краски, какая веселая, озорная выдумка!

Игрушки и посуда, вышивки и ткани, изделия из бересты, лыка, дерева, камня. Вятские, павловские, нижегородские, московские кустари — вот истинные кудесники и художники.

Вот бы чем гордиться, чему радоваться. Вот где вкус и талант. Так ведь нет, все это прекрасное заслоняется безвкусицей и аляповатостью, которой так много на выставке.

Купцы в погоне за рекламой старались перещегоолять один другого.

Домики из каменной соли. Бюсты императоров из мыла. Триумфальная арка из винных бутылок трех цветов: белого, синего, красного — цвета государственного флага.

Железнодорожные будки из шоколада. Шалаши из канатных кругов. Сухарева башня из ваты...

А к приезду царя Николая II купцы еще пуще разукрасили свои павильоны. На каждый павильон и на каждый киоск был водружен вензель «Н. А.». Железники сделали буквы из якорных цепей, рыбники из сушеной рыбы, текстильщики из ситца, а экипажники — из колес!

И еще забота у купцов: кто преподнесет государю императору лучший подарок?

Победили железоторговцы - вручили царю корзину ландышей из жемчуга и бриллиантов,

с листьями из уральского нефрита.

Но как ни старайся, а не завалишь безвкусным хламом истинную красоту и чистоту.

Однажды необычное зрелище привлекло внимание Алексея Максимовича... Маленькая, хромая старушка, вся в морщинах, словно выкатилась на открытую эстраду. Кругленькая, в ситцевом платье. Белый платок покрывал ее седую голову.

Зрители были изумлены. Они привыкли видеть красивых артистов в нарядных костюмах, с отрепетированными жестами,— и вдруг сама простота, сама Россия...

— Вопленица Федосова,— услышал Алексей Максимович позади себя чей-то шепот.

Зазвучала народная былина о Добрыне. Былину сменил «воплъ вдовы по муже». Потом заголосила невеста, тоскуя о девичьей своей воле. А вот разудалая свадебная и горькая солдатская...

Вздых прошел среди публики, вздох горя и восхищения. Казалось, стонет и плачет со сцены весь русский народ, стремясь выплакать в песнях свою многовековую боль и страдание.

Вопли всё рвутся и рвутся из груди маленькой женщины,— откуда сила берется?

Семьдесят лет прожила она на земле, выпевая в своем искусстве чужое горе и свою собственную горькую долю.

Алексей Максимович ушел потрясенный, взволнованный. Направляясь к выходу, он оглядывался на публику, празднично гуляющую по выставке, и снова, в который раз, до боли ему стало обидно, что посещает выставку «публика», а не народ!

Да и откуда взяться тут трудовому люду? Нет у него на это ни времени, ни денег. Вот и получается, что ни рабочие Нижнего, ни крестьяне окрестных деревень так и не увидели «торжества русской промышленности».

Теперь по утрам Алексею Максимовичу все труднее было заставлять себя отправляться на выставку. Постепенно он стал бывать там все реже. Если бы не обязанность писать в газеты, право, он и вовсе не ездил бы туда.

Но дело есть дело. И хоть два раза в неделю, но Алексей Максимович обязательно бывал на выставке.

Горький посылал свои корреспонденции не только в «Одесские новости» — он еще печатал их в «Нижегородском листке».

Однако несмотря на то что газета «Нижегородский листок» велась в либеральном духе, Горькому она поначалу не нравилась. Но он вынужден был работать в ней ради денег.

Платили ему пятьдесят рублей в месяц и еще дополнительно по пять копеек за строку фельетона. Раз в неделю он был обязан давать в газету один фельетон.

Не скрывая своих чувств — разочарования и обиды за народ,— писал Алексей Максимович статьи о выставке.

После выхода нескольких номеров его вызвал к себе губернатор и сделал выговор за резкость тона. А еще через некоторое время одна из статей Горького была задержана цензурой и отправлена министру внутренних дел.

С горечью сетовал Алексей Максимович в письме к своей невесте Екатерине Павловне Волжиной:

«Я не писал противозаконных статей — я писал по совести о том, что выставка... не народна и что народ в ней никакого участия не принимает».

Так прошло лето.

Последний свой фельетон Алексей Максимович написал 13 октября 1896 года. И назывался он весьма символически: «Разгром». Это и вправду походило на разгром. Алексею Максимовичу казалось, что какое-то злое гигантское существо оползло выставку, разрыв носом ни в чем не повинную землю,— это вынули рельсы кольцевой железной дороги.

У входа с шипением и свистом продолжал бить огромный фонтан, хотя давно уже спала жара и никому не было надобности в его прохладе.

«Вода льется, словно символ любимого занятия праздных людей — переливать из пустого в порожнее», — с усмешкой думал Алексей Максимович, глядя на фонтан.

С большой иронией и сарказмом пишет он, что сеяли на этой земле деньги, а собирают в житницы — хлам.

«Он — всюду. Он заполняет собой всю территорию выставки в виде соломы, мочала, стружек, щеп, разноцветных кусочков бумаги, кусков извести, рваных газет...

Лежат горы ящиков. Одни из них открыты и смотрят как гроба и ждут, когда в них положат «продукт русского национального труда», выработанный иностранной фирмой...

На «Москве» надпись: продается. Таков век — не только люди, целые города продаются...

И всюду, куда ни посмотришь, все падает, разрушается, трещит — от всего на землю сыплется хлам. Как ни велика сила миллионов, но не прочно все то, что творят они; и выставка на каждом шагу свидетельствует об этом».

«Прах и хлам», «Город мертвых» — так метко характеризует Горький выставку в своей заключительной статье.

В этой статье он создает символическую картину гибели и разгрома современного денежного мира.

Мысль, которая прозвучала в этом фельетоне, Горький вскоре развил в повести «Фома Гордеев».

Купцы

Нижний Новгород — город купеческий,— говорил Алексей Максимович Горький,— о нем сложена поговорка: «Дома — каменные, люди — железные».

После отмены крепостного права в России стал быстро развиваться капитализм. Прежде всего в промышленности. С 1866 по 1890 год количество заводов и фабрик увеличилось почти вдвое.

Росли большие города — центры экономической и политической жизни. Возникали новые промышленные районы. И все эти изменения совершались на глазах одного поколения, всего лишь немногим больше чем за четверть века.

Фабриканты, судостроители, торговцы смело занимали место в жизни рядом с дворянством. Дворянские имения, особняки переходили в руки купцов.

В «дворянские гнезда» и «вишневые сады» пришел новый хозяин. Купеческие дети поступали учиться в институты для «благородных». В городских думах почетные места занимали купцы. Купец становился хозяином города.

И на Волге, в старом городе Нижнем Новгороде, утвердился купец. Новый всеильный владыка купец. Это было время, «когда... со сказочной быстротой создавались миллионные состояния».

Случалось, что за несколько лет человек проходил путь от мелкого торговца, бурлака до владельца пароходов, баржей, заводов и фабрик...

Новых хозяев называл Алексей Максимович «железными» людьми. «Жизнь... очень просто поставлена: — говорили эти «железные» люди,— или всех грызи, иль лежи в грязи...» И они «грызли»...

Ради наживы купцы шли на все. Один пароходчик застраховал свой пароход и товар на сумму, в четыре-пять раз превышающую стоимость. Пообещав капитану хорошее вознаграждение, купец уговорил его сжечь и пароход и товар.

В Астрахани капитан напоил команду, отпустил всех на берег, зажег свечу, поставил ее в укромное место, а сам улегся в каюте спать. Через некоторое время слышит он на берегу крики: «Пожар! Пароход горит!»

Выждав, пока пламя охватило большую часть парохода, капитан выбежал на палубу и словно бы спросонья и от растерянности начал рубить чалки. Подоспела пожарная команда, а чалки обрублены, пароход относило течением все дальше и дальше.

Где уж тут потушить пожар? Капитан кинулся в воду и благополучно приплыл к берегу. Шумел, ругался, плакал. А на следующий день крепко выпил с пароходчиком и положил в карман кругленькую сумму.

Стремительно нажитое богатство кружило голову. Отсутствие знаний, духовных интересов вело к распутству, дикости. Множество историй о купеческих нравах по сей день хранится в памяти нижегородцев.

Подвыпил однажды пароходчик и решил посетить свой пароход «Некрасов». Зашел в салон. Там на стене висит портрет поэта Некрасова. Остановился он перед портретом, долго разглядывал, а потом как закричит в гнев:

— Капитан! Зачем такой плохой портрет повесил?! Я здесь совсем непохож!..

А на пароходе «Пушкин» пьяный владелец, возвратившись поздно вечером на пароход,

долго смотрел на портрет Пушкина и вдруг, разъяренный, крикнул:
— Что, друг Пушкин, улыбаешься? Я тебе покажу, как улыбаться! К барьеру! Становись к барьеру!

Раздался выстрел. В салон вбежал испуганный капитан. За ним толпились встревоженные пассажиры.

— Наповал! Прямо в сердце, без мучений! Вот это дуэль! — удовлетворенно проговорил хозяин и, ни на кого не глядя, как ни в чем не бывало вышел из салона. На портрете зияла большая дыра.

Старые жители города хорошо помнят купеческие гуляния на масленицу. К гулянию готовились за несколько недель. На Жуковской — центральной купеческой улице — устраивались гонки рысаков. В розвальни водружали печь и пекли блины прямо на улице. Наевшись блинов, спускались к Волге, где начинались гонки по льду. А потом ехали за десятки верст в Городец. Орловских рысаков поили шампанским. Усталые лошади жадно цедили сквозь зубы ледяное вино, а потом летела тройка верст сорок — остановить нельзя. Запаливались, гибли лошади...

В Городце особое катание — лодочное. На длинные, специально смастеренные полозья ставили большую лодку. Посреди лодки — стол, а на нем гряда блинов и бочонок с водкой. Вокруг стола рассаживались купцы.

Полсотни мужиков, ухватив постромки, впрягались в лодку и бегом неслись по улице. Купцы чарками пили водку, ели блины. В конце улицы — остановка. Ковши и чарки плыли по кругу. Возницы получали свою долю — и в обратный путь. Снова остановка, снова ходят по кругу чарки. И так до тех пор, пока возницы не выбьются из сил.

Во второе воскресенье великого поста в Нижнем Новгороде праздновалась еще одна масленица — козья. Ярмарка, народное гуляние и снова катание, как на настоящую масленицу.

Только ко всем прочим развлечениям в этот день возили в санях разряженное чучело козы, а по улицам водили живую козу.

Говорили, что когда-то, в незапамятные времена, в этот день в Канавине случился пожар. Перепуганная коза вырвалась из хлева, понеслась по улицам и запуталась в веревке пожарного колокола. Звон набата разбудил канавинцев. Так коза спасла жителей от неминуемой беды. И нижегородцы славили свою спасительницу...

Унылое сытое житье купцы разнообразили «подаянными днями». В эти дни задолго до рассвета к железным воротам купеческих особняков тянулись со всех концов города нищие.

Шли старики, опираясь на палки. Женщины несли грудных младенцев. Бежали голодные, оборванные, но всегда веселые и неунывающие ребятишки. На целый квартал выстраивалась очередь, часами ожидая, пока отпрут тяжелые засовы на воротах. Наконец-то! Приказчики впускали нищих во двор и выносили два мешка: в одном — медные пятаки, в другом — серебряные гривенники. Проходило еще несколько минут томительного ожидания.

И вот появляется сам хозяин и кладет в протянутую руку пятак или гривенник.

Получивший подаяние громко благодарит хозяина и, желая «благодетелю» царствия небесного, низко, в пояс, кланяется.

Уже больше часа раздает купец пятаки и гривенники, а процессии конца не видно.

Приказчики строго следят, чтобы «голодранцы» по два раза не подходили. А сами не зевают, норовят то и дело переложить из мешка в карман горсть серебра или, на худой конец, меди.

Алексею Максимовичу Горькому, еще мальчишкой, случалось не раз бывать по пятницам на дворе богатейшего нижегородского купца Бугрова. В этот день Бугров поминал своего покойного родителя и в память его выдавал нищим по два фунта хлеба и по серебряному гривеннику.

А в день памяти деда — родоначальника бугровских миллионов — благодарный внук устраивал поминальные столы. Происходило это обычно в Городце.

Несколько десятков подвод везли в Городец мешки с серебром. На городской площади расставляли длинные столы с хлебом и квасом. Этот день хорошо знали нищие, и уже за неделю тянулась в Городец оборванная, голодная толпа.

С Николаем Бугровым, «некоронованным нижегородским королем», Алексею

Максимовичу впоследствии приходилось не раз встречаться, и он написал о нем очерк, который так и назывался «Н. А. Бугров». Человек это был настолько самобытный, что о нем стоит рассказать.

Бугров

В пятидесятых годах минувшего века пришел на Волгу из Керженских лесов веселый, бойкий, смекалистый парень по имени Петруха Бугров. Бурлацкая ляжка, деревянная ложка, балалайка за плечами — вот и все его имущество.

Но недолго ходил он в бурлаках. Быстро смекнул: на Волге надо работать головой, а не горбом, больше толку будет.

Сколотил он из молодых ребят артель грузчиков, взял несколько удачных подрядов, а там, глядишь, и сам подрядчиком стал.

А когда умирал Бугров, оставил сыну своему Александру миллионное состояние. Сын удвоил отцовские миллионы. А внук, Николай Александрович Бугров, был уже одним из самых богатых людей в России.

Лучшие дома в городе — Бугрова. Десятки буксирных пароходов на Волге — Бугрова.

Сотни десятин леса — Бугрова. Крупнейшие мельницы — Бугрова. Всесилен Бугров!

Считалось, что городские дела решались в думе и на бирже. Но все знали: предрешаются они в темных, с низкими сводами, комнатах бугровского дома.

По утрам здесь под председательством «короля» Бугрова собирались руководители думских партий, видные деятели города, приезжал сам городской голова. Бугров давал указания, распределял роли. А вечером в ярко освещенной думской зале все разыгрывалось как по нотам.

Однажды вновь назначенный нижегородский полицмейстер проезжал по Нижнему базару.

Увидел он, что один из переулков забит подводами с хлебом. Ни пройти, ни проехать.

Полицейстер потребовал убрать подводы и расчистить проезд.

— Подводы-то Бугрова,— ответили приказчики.

— Убрать! — строго повторил полицмейстер.

— Так ведь подводы-то самого Николая Александровича Бугрова...— твердили приказчики.

— Убрать! — рассвирепев, в третий раз приказал полицмейстер. Кинулись за Бугровым, благо бугровская контора находилась неподалеку.

Бугров появился спокойный и важный. Грузный, рыжеватый, стриженный в скобку, с напущенными на лоб волосами, он долго стоял молча, исподлобья глядя на полицмейстера.

— Шумишь, ваше благородье? — наконец спросил он негромко.— Убрать хлеб, говоришь?.. — Бугров задумался, почесал подбородок и снова замолчал. Долго молчал, потом махнул рукой: — Эх, барин, да мне тебя куда легче убрать, нежели эти подводы... Повернувшись, он так же спокойно и важно направился в контору. Через три дня полицмейстера убрали из города.

Обладатель миллионного состояния, Бугров занимал в своем роскошном особняке комнату возле кухни, спал на полатах или на печке. Зимой и летом носил заплатанный длиннополый сюртук и брюки, заправленные в сапоги со сборами, засаленный картуз. По городу ездил на дрогах со старой упряжью. Каждый день ел щи с черным хлебом да кашу. Лишь иногда позволял себе «роскошь»: белый хлеб, испеченный из самого низкого сорта пшеничной муки.

Все закупки по дому Бугров делал сам и мог часами торговаться, лишь бы выторговать полтинник.

Еще в 1860 году отец Николая Александровича Бугрова построил на центральной площади города дом-дворец. Впоследствии этот дом Бугровы сменяли на загородное поместье.

В девяностых годах в бывшем бугровском доме разместился городской театр. Узнав об этом, Бугров обратился в думу с просьбой: за любую цену продать ему дом, потому, мол, что косточки его папеньки и маменьки в гробу беспокойно лежат, покуда в их доме театр помещается.

Пришлось городской думе уважить просьбу миллионера.

Бугров купил театр, а через неделю подарил дом-дворец обратно городской думе. Только расписку взял, чтобы впредь в этом здании не допускалось устройство какого-либо театра или увеселительного заведения...

Все векселя и прочие бумаги Бугров всегда носил с собой, в кармане поддевки. Не раз его уговаривали завести контору, нанять бухгалтера. Он послушался.

Снял под контору помещение, богато обставил его, выписал из Москвы бухгалтера. Однако никаких дел и бумаг конторе не передал. На предложение бухгалтера составить опись имущества Бугров, почесывая скулу, задумчиво сказал:

— Это большое дело! Имущества у меня много. Считать его долго! Три месяца просидел бухгалтер в пустой конторе без всякого дела.

А потом заявил, что не может деньги ни за что получать, и попросил отпустить его с миром.

— Извини, брат! — сказал Бугров. — Нет у меня времени конторой заниматься. Лишняя она мне обуза. У меня контора вся тут! — Он, усмехаясь, хлопнул себя ладонью по лбу и карману. — Иди, голубчик, с богом!

Ежедневно к полудню Бугров отправлялся на биржу, где в громадном высоком зале именитое купечество вершило за чаепитием свои дела. Каждый стол имел здесь свое название и назначение: «миллионный», «нефтяной», «поставочный», «страховой», «стол доверенных».

За «миллионным» столом — цвет нижегородского купечества во главе с Бугровым.

Иногда к «миллионному» столу приглашали на стакан чая кого-нибудь из купцов помельче. Вся биржа с завистью глядела на счастливчика: с самим Бугровым чай пьет! В два часа чаепитие заканчивалось и все медленно расходилось по домам.

Близ Городца в родовом селе Попово Бугров выстроил церковь с золочеными главами. В церкви большая икона, а на ней изображен сам Николай Александрович Бугров с пятиглавым храмом на ладони. Под портретом-иконой надпись глаголицей: «Никола преподносит свой дар господу богу».

Горький писал о Бугрове, что «был он щедрым филантропом...» Но Алексей Максимович хорошо знал цену подобной щедрости.

«...Хозяева» поддерживали слабых только тогда, — писал он, — когда слабые были совершенно безопасны — физически дряхлые, больные, нищие. Поддержка выражалась в устройстве больниц, богаделен, а для тех слабых, которые решались сопротивляться «закону и морали», строились тюрьмы».

В своих произведениях, где изображается жизнь купечества, Алексей Максимович безжалостно раскрывал эксплуататорскую сущность «железных» людей. Не случайно, когда Н. Бугров прочел книгу Горького «Фома Гордеев», он сказал:

— Это — вредный сочинитель, книжка против нашего сословия написана. Таких в Сибирь сослать, подальше, на самый край...

Гордей Чернов

«Особенно значительной была для меня повесть о Гордее Чернове... Очень понравилась мне эта полусказка о человеке, который так легко выломился из «нормальной» жизни, так просто отверг ее...» — писал Алексей Максимович Горький еще об одном волжском «короле» Гордее Чернове.

Гордей Чернов сначала работал водоливом на отцовской расшиве — плоскодонном судне.

Это были годы бурного расцвета волжской судопромышленности. Случалось, что люди богатели за одну навигацию. А случалось, и разорялись с такой же сказочной быстротой.

Гордей Чернов вскоре стал тысячником, а потом миллионером. Его стихией была Волга, пароходный промысел, и в этом промысле Гордей Чернов не имел себе равных.

Все было необыкновенно, незаурядно в этом человеке. Он обладал недюжинной силой воли, ни перед чем не останавливался, в минуты жизненных неудач и несчастий был хладнокровен, равнодушен и невозмутимо спокоен.

Гордей Чернов первый начал строить волжские баржи, вмещающие сотни тысяч пудов, и пароходы-гиганты. Имена давал им соответствующие: «Самсон», «Геркулес», «Двухтрубный». Теперь только и разговоров по всей Волге было, что о черновских

баржах и пароходах.

Да и как было не говорить о Гордее Чернове?!

На каждом пароходе, на каждой барже и баржонке, на амбарах, конторах, лавках — везде огромные буквы «Г. Ч.». За много верст угадывали волжане черновские суда. Едва за зеленым ковром лугов возникала черная труба, как уже разносился говор:

— Это черновский...

— Почему?

— Таких труб ни у кого нет!

Когда шел по реке караван черновских барж, останавливалось движение по всей Волге.

— Почему не пропускают? — спрашивали плотовщики где-нибудь под Царицыном.

— Гордей Чернов сверху идет!

Плоты жались к берегу и выжидали, когда пройдет черновская «туча».

А сам Чернов стоял на капитанском мостике.

— О-го-го-о-о!.. Не отставай!..— кричал он дальнему судну.

И с радостью слушал, как эхо в прибрежных лесах подхватывает его команду...

В те годы на Каспии добывалось все больше и больше нефти. Но нефтяные короли тогда еще не имели своего флота и заключали договоры на перевозку нефти с волжскими купцами. Одна лишь фирма братьев Нобель — крупнейшая — добывала десятки миллионов пудов нефти. Пароходчики «дрались» за нобелевскую нефть.

Гордей Чернов победил всех. Заключил с фирмой договор на перевозку нефти сроком на три года по цене семь копеек за пуд, в то время как обычная цена была четырнадцать копеек.

Когда об этом узнали на нижегородской бирже, то решили, что Гордей сошел с ума.

Но Гордей отнюдь не прогорел! Он пустил под нефть весь свой флот. Вместо маленьких барж приспособил для перевозки нефти огромные, вместимостью до ста шестидесяти тысяч пудов. На мелких местах устраивал перекачку нефти и добился того, что его караван перевозил шесть миллионов пудов нефти за рейс! Не было до Чернова таких караванов на Волге.

Биржа заговорила о новом миллионере. А на следующий год у Чернова уже перевозили нефть пять пароходов и пятьдесят барж. Гордей с головой ушел в кипучую волжскую деятельность. Где помогали ум и смекалка, а где — удача, счастье. Костромской мужик стал владыкой кормилицы-реки.

Но чем больше росли богатство и слава Чернова, тем теснее становилась для него Волга, как, впрочем, и сама жизнь. Он метался по Волге, ища выхода своим буйным силам. И баржи, и пароходы, и амбары, — все «такое, как ни у кого»! А дальше что? Завел он торговлю с Персией и Бухарой. А за Персией и Бухарой для Гордея Чернова — конец света. Как узок и ничтожен мир!

В 1865 году постиг Гордея Чернова тяжкий удар. Весной, во время ледохода, срезан был льдом караван из двадцати барж, груженных нефтью. На глазах у Гордея ледяная громада ломала и крошила баржи.

О спасении судов нечего было и думать. Долго смотрел Гордей на жестокое это зрелище, потом опустился на колени и поклонился гибнущим судам.

— Прощай, батюшка-караванушко!.. — хрипло выговорил он.— Волга дала, Волга взяла...

И отправился на завод заказывать новый, невиданной величины, буксирный пароход.

А еще построил он баржу вместимостью в миллион пудов нефти, чтобы перевозить нефть от самого Баку до Нижнего Новгорода без перекачки. Новую баржу назвал «Морячкой».

Но когда баржа пришла в Астрахань, судоходный надзор испугался — не доводилось им видеть до сей поры таких гигантов — и не выпустил ее в море.

— Ах так! — разъярился Чернов.— Обойдусь без разрешения!

Тайком провел он свою «Морячку» в Баку, наполнил нефтью и ночью вышел в обратный рейс. Морская полиция кинулась вслед. Заметив погоню, понял Гордей, что уйти не удастся, и поджег нефть. Капитан служебного баркаса дал команду прорубить отверстие в борту баржи. Огненный поток хлынул в море, и яркое невиданное зарево согнало с неба ночную тьму.

Молва о сумасшедшей выходке Чернова дошла до Нижнего. Биржа шумела. В загородном саду артист, загримированный под Чернова, распевал:

Мой костер в тумане светит,

Деньги гаснут на лету...

Вернувшись в Нижний, Гордей запил. Кидался из одного ресторана в другой. Скандалил и пил. Пил и скандалил. О его кутежах писали газеты. В юмористических журналах пестрели карикатуры. Пытались применять против Гордея крутые административные меры. Но Гордей ни на что и ни на кого не обращал внимания...

В те дни жители Нижнего с удивлением наблюдали за новой стройкой. На одной из центральных улиц города вырастал дом странной архитектуры: с несколькими куполами, похожий на церковь, но вроде бы и не церковь. Это Гордей Чернов, воздвигал памятник своей погибшей «Морячке».

Однажды, придя в один из нижегородских клубов, Гордей уселся на пол и стал раздеваться. Снял обувь, пиджак. Губернатор подверг его аресту за скандал в публичном месте. Через несколько дней Гордей снова явился в клуб, подошел к играющим в карты и молча долго наблюдал за игрой.

Один из игроков позволил себе сказать что-то нелестное в адрес Чернова. Гордей звонко ударил «смельчака» по лысине. Шум, суматоха, крики...

А Гордей невозмутимо снял пиджак и пошел бить направо и налево клубных завсегдатаев. Одни под столом спрятались, другие на окна залезли, третьи спаслись бегством. И снова Гордей был приговорен к аресту за скандал в публичном месте... А в клубе сложили шутивную былинку:

Не буран средь степей поднимается,

Не Мамай воевать снаряжается,

Не Чурило гудит Селивановым,

В клуб ввалился Гордей сын Иванович...

Дивились купцы-волгари черновской изобретательности и находчивости. Первый на Волге переделал он в кустарных мастерских деревянный корпус своего парохода «Слуга покорный» на железный. И вот уже новый проект: вставить в днище каждой баржи деревянные валики-катки, чтобы на мелководе баржи могли свободно перекатываться через песчаные отмели.

Предлагал Гордей Чернов строить разборные баржи, так чтобы баржа состояла из нескольких частей и в случае необходимости каждая часть могла бы плавать самостоятельно.

Еще идея: устроить на простаивавших в зимнее время пароходах сезонные мельницы-амбары.

Но купцы-волгари народ косный. Не поддерживали проекты Гордея, и почти все они оканчивались неудачей.

А вскоре заговорили на Волге о гордеевском бунте.

Летом на перекате он приказал капитану вести караван там, где не было дозволено.

Судоходный надзор задержал капитана. Гордей разогнал всю команду, встал на капитанский мостик и скомандовал:

— Полный вперед!

Не обращая внимания на путейских десятников и невзирая на все запрещения, Чернов гордо провел свой караван через перекат. Газеты единодушно писали, что Гордей Чернов разрешил мудрую задачу века — доказал, что для волжского купца нет ничего невозможного.

Прямо «с поля боя» Гордей-победитель сел в тюрьму. Но ведь это был Гордей Чернов и он доказал свое!

Как-то один из пароходов Чернова не успел вовремя вернуться в Нижний и зазимовал в низовьях Волги. Рассвирепевший Гордей приказал к весне перекрасить пароход. Корпус, труба, мачта — все было выкрашено в огненный цвет. И дали пароходу новое имя: «Черт». Так и проплавал «Черт» всю навигацию, пугая своим именем и видом суеверных поволжских старушек.

В 1892 году однажды утром собрал Гордей Чернов своих служащих и сказал:

— Прощайте, ребята! Не поминайте лихом!

Потом спустился к Волге, поклонился ей, своей матери и кормилице, поцеловал в последний раз родную землю и вышел из города. Исчез Гордей Чернов. Все Поволжье поднялось на ноги. Понеслись над Волгой роковые слова: «Неплательщик! Банкрот!»

На бирже только руками разводили. Мог ли кто предполагать крах?! Кредиторы, как пиявки, стали сосать миллионы Чернова. Сосали, сосали, а когда насосались и подвели итог, чистых денег осталось двести тысяч рублей.

И только через три года отыскался след Гордея. Ушел он пешком в Старый Афон и постригся в монахи. А в 1896 году пронесся слух, что Гордей пришел в Нижний. Говорили, что побывал он на ярмарке, осмотрел промышленную выставку, выпил с друзьями-волгарями и снова исчез. На этот раз навсегда.

Только после Октябрьской революции в Нижнем Новгороде в доме Гордея Чернова была обнаружена пачка депеш, присланных им из Греции, из Староафонского монастыря, с распоряжениями о закупке и перепродаже хлеба, о приобретении для настоятеля монастыря акций и т. п.

Монашеский клубок не помешал Гордею Чернову и в монастыре заниматься тем, чем занимался он на Волге.

Гордей Чернов и «Фома Гордеев»

Еще в детстве познакомился Алексей Максимович Горький с жизнью «железных» людей. Сколько раз, мальчиком, стоял он со своими сверстниками возле чугунной ограды каменного дома-дворца миллионерши Бурмистрихи.

Властная, жадная, деловая купчиха, получив от отца в наследство миллионы, взяла себе в мужа скромного купца Бурмистрова и крепко держала в своих руках и деньги и мужа. Мальчики любили глядеть, как под вечер с громким цоканьем подкатывали к подъезду роскошные экипажи. Важные кучера восседали на козлах, позванивала дорогая сбруя, пофыркивали лошади. Ярко светили окна, гремела музыка.

Перед домом — стеклянная оранжерея. На улице мороз, но, если прижаться, расплущив нос, лицом к запотевшему стеклу, можно видеть, как краснеет на грядках земляника, желтеют персики, пестреют мохнатые невиданные цветы... А заглядывая в окна кухни, мальчики наблюдали, как толстый краснолицый повар в белом колпаке и фартуке колдовал над тушей теленка.

Наглядевшись на роскошную жизнь, которая, по их представлениям, и на жизнь-то была мало похожа, ребята бежали дальше, в район Миллионки, собирать по мусорным ямам ветошь, кости, чтобы, продав их, получить гривенник и купить хлеба.

Увиденное и пережитое в детстве остается в памяти и в душе на всю жизнь... И потом, уже взрослым человеком, Алексей Максимович с пристальным интересом наблюдал «железных» людей.

Нижегородский купеческий быт нашел яркое отражение в лучших произведениях Алексея Максимовича Горького. Достаточно назвать повести «Фома Гордеев», «Трое», «Дело Артамоновых», роман «Жизнь Клима Самгина», пьесы «Егор Булычев» и «Васса Железнова» чтобы убедиться в этом.

В сентябре 1934 года Алексей Максимович писал краеведу нижегородцу Хитровскому: «Уделите возможно больше внимания нижегородскому купечеству, Бугрову и другим, не щадя оных...»

Сам Алексей Максимович то и дело обращался в своем творчестве к «железным» людям Нижнего Новгорода и, не щадя, изображал их на страницах своих книг.

Работая над повестью «Фома Гордеев», Алексей Максимович писал:

«Эта повесть — доставляет мне немало хороших минут и очень много страха и сомнений,— она должна быть широкой, содержательной картиной современности, и в то же время на фоне ее должен бешено биться энергичный, здоровый человек, ищущий дела по силам, ищущий простора своей энергии.

Ему тесно, жизнь давит его, он видит, что героям в ней нет места, их сваливают с ног мелочи, как Геркулеса, побеждавшего гидр, свалила бы с ног туча комаров».

Считается, что история Гордея Чернова легла в основу повести «Фома Гордеев». Но это вовсе не значит, что Алексей Максимович написал эту повесть только лишь о Гордее Чернове.

Он сам не раз говорил о том, что для того, чтобы написать «Фому Гордеева», он должен был видеть не один десяток купеческих сынков, не удовлетворенных жизнью и работой своих отцов.

И все же, если мы внимательно прочитаем повесть «Фома Гордеев», то убедимся, как много черт характера и биографии Гордея Чернова, о котором мы рассказали вам в предыдущей главе, использовал Алексей Максимович Горький в своей повести в образах Игната и Фомы Гордеевых.

Отец Фомы — Игнат Гордеев начал карьеру водоливом на барже. Работал водоливом и Гордей Чернов. И внешне Игнат Гордеев напоминает Гордея Чернова.

Вот как описывает Горький своего героя: «...Высокий, широкоплечий, он говорил густым басом, как протодьякон; большие глаза его смотрели из-под темных бровей смело и умно; в загорелом лице, обросшем густой черной бородой, и во всей его мощной фигуре было много русской, здоровой и грубой красоты; от его плавных движений и неторопливой походки веяло сознанием силы».

В характере Игната Гордеева тоже много общего с Гордеем Черновым. «Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя и разбрасывая сети, которыми ловил золото... Но, отдавая так много силы этой погоне за рублем, он не был жаден в узком смысле понятия и даже, иногда, обнаруживал искреннее равнодушие к своему имуществу».

Есть в повести «Фома Гордеев» рассказ о том, как погибли баржи в Сормовском затоне. Игнат Гордеев стоит на берегу и наблюдает, как лед ломает его тридцатипятисаженную баржу, притиснув ее к обрывистому берегу.

«— Ничего! Еще сто наживем!.. Ты гляди, как работает Волга-то!

Здорово?.. Волга дала, Волга и взяла...» — спокойно говорит Игнат Гордеев.

Гордея Чернова на Волге звали бешеным, сумасбродным. У Игната Гордеева прозвище — «шалый».

Игнат Гордеев испытывает порой неудовлетворенность жизнью. Он «как бы чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. Он задумывался и, пытливо поглядывая вокруг себя из-под густых, нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и злой... Тогда в нем просыпалась другая душа — буйная и похотливая душа раздраженного голодом зверя. Дерзкий со всеми и циничный, он пил, развратничал и спаивал других, он приходил в исступление, и в нем точно вулкан грязи вскипал. Казалось, он бешено рвет те цепи, которые сам на себя сковал и носит, рвет их и бессилён разорвать».

Много легенд ходило в Нижнем о кутежах Гордея Чернова. И о кутежах Игната Гордеева «в городе создавались легенды», — говорит Горький.

Гордей Чернов любил музыку, песни; слушая пение, плакал пьяными слезами. А вот как описывает Алексей Максимович переживания Фомы Гордеева: «...Песня кипящей волной вливалась ему в грудь, и бешеная сила тоски, вложенная в нее, до боли сжимала ему сердце. Он чувствовал, что сейчас у него хлынут слезы, в горле у него щипало, и лицо вздрагивало».

Чернов «пьянел» от работы, с азартом, позабыв все, работал сам и увлекал других. Фоме Гордееву «страстно захотелось влиться в этот возбужденный рев рабочих, широкий и могучий, как река, в раздражающий скрип, визг, лязг железа и буйный плеск волн...» — пишет Алексей Максимович.

Помните, как Гордей Чернов разогнал всю команду, капитана и судоводную инспекцию и сам провел караван по Волге? Есть такой эпизод и в «Фоме Гордееве».

И вот еще один герой повести — Яков Маякин. Если в образе Фомы Горький нарисовал отщепенца, отколовшегося от своего класса бунтаря-одиночку, то в Маякине он воплотил предводителя купечества, осознавшего силу своего капитала, рвущегося к власти политической.

«— Какой лучший город на Волге? — спрашивает Яков Маякин. — В котором купца больше... Чьи лучшие дома в городе? Купеческие! Кто больше всех о бедном печется? Купец!.. Кто государству больше всех денег дает? Купцы!..»

Яков Маякин слеплен Горьким из черточек, присущих многим нижегородским купцам. «Крестный отец Фомы Гордеева, Маякин, тоже сделан из мелких черточек, из «поговорок», и я не ошибся: после 1905 года — после того, как рабочие и крестьяне вымостили для Маякиных дорогу к власти своими телами, — Маякины, как известно, играли немалую роль в борьбе против рабочего класса, да и теперь еще мечтают вернуться на старые гнезда», — писал Алексей Максимович.

С подлинного «железного» человека написан и еще один герой повести — Ананий Щуров, Алексей Максимович вспоминал, что познакомился с прототипом Щурова, когда ему было

уже 82 года. Старик был прям, как мачтовая сосна, зубы все целы. В темных глазах сверкали синеватые угарные огоньки. Много злодейств числилось на его совести. «Во всю правду повести о нем я не поверил и, вводя его в книгу «Фома Гордеев» под именем Анания Щурова, несколько сократил количество уголовных подвигов его». Своим героям Алексей Максимович нередко дает имена и фамилии людей, живших в те годы в Нижнем и в Поволжье. Ходили по Волге три буксирных парохода купца Маякина, плавали пассажирские суда купцов Смагина, Смолина, Богомолова. На реке Вятке находились большие судоремонтные мастерские братьев Булычевых.

Кто сейчас помнит о Бугрове или Гордее Чернове? Имена их забыты. А образы, созданные писателем Максимом Горьким, живут и будут жить вечно в его книгах, рассказывая новым поколениям о темных днях и делах, безвозвратно ушедших в прошлое.

Знакомство с прототипами произведения как бы приоткрывает перед нами дверь в тайную тайных писателя — в его творческую лабораторию. Знакомство это позволяет нам, хотя бы в малой мере, познать сложный процесс создания литературного образа.

Сделать газету своей!

Отшумела, отликовала, отпечалилась Шестнадцатая всероссийская выставка. Алексей Максимович остался в родном городе работать корреспондентом «Нижегородского листка». Он всегда много писал в газеты. Печатался в «Кавказе», «Волжском вестнике», «Волгаре», больше года трудился в «Самарской газете».

Газетная работа хотя и требовала большого напряжения сил, но была ему по душе. Есть что-то увлекательное в жестких сроках: хочешь не хочешь, а статья, очерк, фельетон должны быть сданы к определенному дню и даже часу — иначе не выйдет номер газеты. И как радостно, когда материал, написанный сегодня, завтра видишь напечатанным и знаешь, что его читают тысячи людей, что твое слово действует, учит, зовет, помогает. За семь месяцев 1896 года Алексей Максимович опубликовал в «Нижегородском листке» свыше пятидесяти материалов: фельетоны, отчеты с выставки, несколько рассказов. Но чем чаще появляется на страницах «Нижегородского листка» имя Максима Горького, тем пристальнее глаз начальства следит за газетой, тем чаще попадает она в немилость. И все-таки, часто печатаясь в «Нижегородском листке», Алексей Максимович еще не чувствует газету «своей». Много в ее направлении раздражает его. Но вот в 1899 году в газету приходит новый редактор Станислав Иванович Гриневицкий, с которым Алексея Максимовича связывала настоящая дружба.

С. И. Гриневицкий был двоюродным братом народовольца И. Гриневицкого, бросившего бомбу в царя Александра II.

Резко меняется направление «Нижегородского листка». Алексей Максимович становится его идейным вдохновителем. Он не только сам пишет в газету, но стремится объединить вокруг нее лучших писателей России.

И вскоре вокруг «Нижегородского листка» образовалась группа талантливых журналистов из прогрессивно настроенной интеллигенции — врачей, учителей, земцев.

Теперь все больше времени проводит Алексей Максимович в редакции газеты, в ее просторных, светлых комнатах.

А начиная с 1901 года каждый день, с самого утра, появлялся Алексей Максимович в редакции. Он читал и правил рукописи, беседовал с молодыми авторами. Когда же выдавалось свободное время, рассказывал истории из своей жизни.

Какой он был великолепный рассказчик! Часто Горький приходил в редакцию в сопровождении «подмаксимовцев». «Подмаксимовцами» называли его друзей, которые, подражая Горькому, стали носить одежду русского покроя, косоворотки и высокие сапоги. Так одевались в то время Федор Шалапин, Леонид Андреев, Степан Петров (Скиталец). Скитальца даже прозвали тенью и спутником Алексея Максимовича. Они и вправду были неразлучны. Писатели «подмаксимовцы» не только одевались «под Горького», но и подражали ему в своем творчестве.

А по вечерам, когда кончался длинный редакционный день, всей компанией переходили на квартиру Гриневицкого, находившуюся в этом же доме, и засиживались до глубокой

ночи. Скиталец приносил волжские гусли-самогуды. Сын крепостного крестьянина-гуслеяра, два года бродил он с отцом по России, распевая русские народные песни. — Эй, вы, гусли-мысли!.. — аккомпанируя себе на гуслеях, заводил Скиталец, и его низкий раскатистый голос гудел все громче и громче.

Пели хором, кто-то играл на гармонике, а потом снова начинал свои рассказы Алексей Максимович.

Пыхтел, шипел, отфыркивался на столе пузатый самовар, ярко светила керосиновая лампа...

Великим постом, когда в церквах предавали анафеме — проклинали — «крамольников»: Гришку Отрепьева, Емельяна Пугачева, Степана Разина,— Горький и Скиталец по вечерам, за чаепитием, насмешливо изображали этот обряд.

— Сия вера истинная... — гудел бас Скитальца.

— Сия вера апостольская... — вторил ему Максим Горький.

— Ана-фе-ма-а!..— ревели они вместе, и от их голосов дрожали стекла.

Все дружнее становилась работа редакции, все больше авторов группировалось вокруг газеты.

Вскоре «Нижегородский листок» был продан паевому товариществу. Купили ее Алексей Максимович Горький и Станислав Иванович Гриневицкий на паях с двумя нижегородскими общественниками.

В письме к Константину Петровичу Пятницкому, директору-распорядителю демократического книгоиздательского товарищества «Знание», Алексей Максимович пишет:

«...С 1-го октября я состою пайщиком газеты «Нижегородский листок». Мы купили вчетвером — всё хорошие люди... В ней участвуют лучшие русские беллетристы: Вересаев, Чириков, Бунин, Андреев, Горький и мн. др. Факт! Она вошла в соглашение с пятью поволжскими изданиями — удивительно остроумное соглашение!»

А вот что пишет он Леониду Андрееву:

«Вы — беллетрист. Я — «Нижегородский листок». Мне хочется — хорошей беллетристики. Но я,— при моих средствах,— дороже 3 копеек платить за нее не могу. Ну-с? Я говорю соседу «Северному краю» и соседу «Волжскому вестнику», соседке «Самарской газете» и еще одному саратовцу: «Братцы! давайте печатать хорошую беллетристику по 3 копейки за строку?»

Они «а как?» А вот как: мы все напечатаем в один и тот же день рассказ Л. Андреева или М. Горького и все дадим им, чертям, по 3 копейки. Таким образом мы — имеем Андреева за 3 копейки каждый, а он получает с нас 15 копеек за строку! Просто, ясно и недурно. У пяти газет — 20 000 подписчиков, это самое маленькое. Выступать перед такой аудиторией — это ничего! Но — милый мой друг! — молчание! Если эту идею кто-нибудь стащит — я с вас возьму 2 393 862 356 рублей убытка. Факт!»

В газете печатаются талантливые репортажи, сатирические зарисовки нижегородских событий — «Письма члена-корреспондента Пикквикского клуба», «Нижегородские картинки», «Из дневника нижегородца», «Сормовские письма», «Канавинские картинки». Стремительно растет слава «Нижегородского листка», бойко идет подписка. Антон Павлович Чехов, уехав лечиться на кумыс, пишет Алексею Максимовичу и спрашивает, нельзя ли подписаться на «Нижегородский листок». Об этом же просит из Финляндии поэт Петр Якубович.

Алексей Максимович все больше пишет для «Нижегородского листка», все чаще печатается на его страницах.

Всю жизнь воевал Алексей Максимович с мещанством. До конца дней своих не уставал твердить о том, какой это страшный, живучий, умеющий приспособливаться к любым обстоятельствам враг. И на страницах «Нижегородского листка» он объявил беспощадную войну мещанству.

Его рассказы «Отомстил», «За бортом», «Свободные дни», «Открытие» «Идиллия» и другие, напечатанные в «Нижегородском листке», напоминают сытому, самодовольному мещанину, что его сытость и благополучие строятся на костях и крови голодных и нищих. В рассказах «Встряска», «Сирота», «Вор», «Роман» Горький рассказывает о тяжелой жизни детей.

Печатал Алексей Максимович в «Нижегородском листке» и главы из больших своих

повестей «Фома Гордеев» и «Трое».

Много споров и толков вызвала статья Максима Горького «По поводу нового рассказа А. П. Чехова «В овраге». Пожалуй, это была первая статья, в которой так глубоко и тонко говорилось о творчестве Чехова, о его поистине необыкновенном таланте.

«Нижегородский листок» был для Горького школой писательского мастерства. Отдельные сценки, зарисовки, разбросанные по газетным страницам, позднее легли в основу многих его произведений.

Описание выставки и ярмарки можно найти в романе «Жизнь Клима Самгина». Рассказ «Идиллия» послужил основой для драмы «Мещане». Героя рассказа «Встреча» мы узнаем в повести «Фома Гордеев» под именем фельетониста Ежова. Маленький фельетон «Однажды осенью» вырос в рассказ с тем же названием.

Требовалась горьковская изобретательность, бесстрашие, талант, чтобы в те годы ставить на страницах газеты проблемы, волновавшие революционно настроенную молодежь.

Как написать о самом главном? Как провести цензуру, которая так пристально наблюдает за газетой? Ведь цензорами были или сам вице-губернатор, или чиновник особых поручений при губернаторе. Чиновник этот был большой любитель веселой жизни, и случалось, что гранки газеты приходилось посылать ему в кабинеты ярмарочных или загородных ресторанов...

25 декабря 1898 года читатели «Нижегородского листка», раскрыв утром газету, прочли в ней шутку-аллегию «Фарфоровая свинья». На первый взгляд, шутка довольно безобидная.

Старинные часы, фарфоровая свинья, бронзовый Меркурий, маленький чертик из папье-маше, гипсовый бюст поэта Генриха Гейне и две вазы с высушенными цветами, мирно расположившись на камине, ведут неторопливую беседу:

«— Что такое счастье?» — спрашивает свинья и сама же отвечает: «— Довольство собой... и ничто иное!.. Мы, йоркширские свиньи, давно уже выработали себе... э... так сказать, проспект жизни... Это очень просто, хотя чрезвычайно умно... Мы, прежде всего, убеждены в пользе и необходимости хорошего питания... Вообще же,— и это самое лучшее,— нужно стараться иметь идеи при себе, но отнюдь не в себе... Мы, йоркширские свиньи, совершенно не нуждаемся в идеях, с нас довольно убеждения... что именно мы — соль земли и опора...»

А когда речь заходит о книгах, свинья искренне недоумевает:

«— Не знаю, что это такое... книги? Никогда не пробовала! Это что-нибудь вроде квашеной капусты?..»

— О Эллада! — воскликнул Меркурий.— Как низко пала жизнь!.. Даже свиньи судят о ней, и в их суждениях — увь! — я слышу голос правды...»

Но совсем иное утверждают старинные часы:

«— Жизнь идет к своей цели и требует деяний от людей,— говорят они,— а люди, в плену своей лени, задерживают темп ее... Необходимые деяния уже созрели, но не свершены, ибо нет рук для работы дружной и святой,— для работы над расширением жизни... и отстают люди от жизни...»

Без труда узнали читатели «Нижегородского листка» в йоркширских свиньях самодовольного русского мещанина. И мещанин узнал себя и затаил злобу.

А вот еще аллегория. Перед лицом Жизни стоят два человека. Оба они недовольны ею. Усталым голосом упрекает один:

«— Я возмущен жестокостью твоих противоречий, разум мой бессильно пытается понять смысл бытия, и сумраком недоумения перед тобой душа моя полна. Мое самосознание говорит мне, что человек есть лучшее из всех творений...»

Человек просит счастья и свободы. А Жизнь отвечает ему:

«— Ты просишь, как привычный нищий; но, бедный мой, сказать тебе должна я — Жизнь милостыни не дает. И знаешь что? Свободный, он не просит, он сам берет дары мои... А ты, ты только раб своих желаний, не более. Свободен тот, в ком сила есть от всех желаний отказаться, чтобы в одно себя вложить. Ты понял? Отойди!

Он понял и улегся, как собака, у ног бесстрастной Жизни, чтобы тихонько ловить куски с ее стола, ее объедки.

Тогда бесцветные глаза суровой Жизни взглянули на другого человека...

— О чем ты просишь?
— Я не прошу, а требую!
— Чего?
— Где справедливость? Дай ее сюда! Все остальное после я возьму, пока нужна мне только справедливость. Я долго ждал, я терпеливо ждал, я жил в труде, без отдыха, без света! Я ждал... но будет! Где справедливость?
И Жизнь ему бесстрастно ответила:
— Возьми!»

Да, человек должен не просить, а требовать, утверждает писатель, не подчиняться, а бороться. И только тогда наступит иная, прекрасная и справедливая жизнь. Аллегория «Перед лицом Жизни», размноженная в сотнях экземпляров, распространялась среди студентов, призывая к борьбе, к бою за справедливость. В феврале 1899 года Алексей Максимович напечатал в «Нижегородском листке» статью под заголовком «Ванькина литература». Когда-то у барона Брамбеуса (1) был лакей Ванька, большой любитель читать «за-

1. Барон Брамбеус — псевдоним журналиста, критика и писателя О. Сенковского.

бористые» книжки. Растрепанный и неумытый, Ванька этот по любви своей к чтению был сродни Петрушке, слуге Чичикова. Каждый раз, когда в руки барона Брамбеуса попадала безграмотная или просто глупая книжка, он давал ее своему лакею:

— Возьми, Ванька, это твоя литература...

Было это шестьдесят лет тому назад, писал Алексей Максимович, и нет уже ни Брамбеуса, ни крепостных лакеев, а Ваньки, любители «забористой» литературы, остались.

Горько сетует Алексей Максимович на то, как много еще выходит в России бездарных книг, безыдейных и пошлых журналов, все они раскупаются, выписываются, читаются такими вот Ваньками, растекаются по стране, уродуя человеческие души, замазывая правду, воспитывая мещанина.

Алексей Максимович заканчивает свою статью страстными словами:

«Говорят — по Сеньке и шапка... Ну, Ванька, скверная же у тебя шапка! Неужели ты не чувствуешь, что заслуживаешь лучшей? Неужели ты действительно не хочешь и не можешь сорвать с себя эту гадкую и грязную? Ты бы подумал над этим, Ванька, ведь ты уже не крепостной и не лакей, ты достаточно свободен для того, чтоб крикнуть людям, отравляющим тебя всякой мерзостью: «Не хочу мерзостей!»

Ответственность не только за свою работу, но и за работу каждого писателя всегда пронизывала творчество Алексея Максимовича Горького.

Эта ответственность звучит и в данных словах.

Да, великое дело газета, когда она находится в умных и добрых руках. Как много может принести она пользы людям, как во многом помочь.

Алексей Максимович прекрасно понимал это. Не только литературные и публицистические произведения печатал он в «Нижегородском листке». С ее страниц все чаще и чаще звучат призывы оказывать помощь беднякам, и особенно детям.

В помещение редакции и на квартиры Гриневецких и Пешковых поступали теплые вещи, продукты, книги, которые регулярно отправлялись в Сибирь сосланным из Нижнего революционерам — студентам и рабочим.

В редакции все больше сотрудников, которых полиция в своих донесениях характеризует, как «неблагонадежных и поднадзорных». Начальник нижегородского жандармского управления в донесении департаменту полиции перечисляет нижегородские газеты и пишет, что все они, кроме «Нижегородского листка», вполне благонамеренные, а вот что касается «Нижегородского листка», то влияние его на общество несомненно вредное, и особо опасно, что в числе сотрудников этой газеты состоит негласно поднадзорный Пешков Алексей Максимович...

Но несмотря на то что Алексей Максимович числился «негласно поднадзорным» и, конечно же, знал об этом, он смело и решительно продолжал свою деятельность в газете и не боясь подбирал для работы в «Нижегородском листке» людей, которые были бы ему верными помощниками в его благородном деле.

В одной из аллегорий, напечатанной в «Нижегородском листке», Алексей Максимович Горький писал:

«Да здравствуют сильные духом, мужественные люди,— люди, которые служат истине, справедливости, красоте!.. Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые — вторую; каждому, кто любит красоту, ясно, где величественное... Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя!»

Эти слова можно со всей справедливостью отнести к замечательному человеку — революционеру, другу Алексея Максимовича Александру Васильевичу Панову.

А. В. Панов

«Всю жизнь Панова — как многих, подобных ему,— писал Алексей Максимович,— гоняли из города в город, из тюрьмы в тюрьму».

Трудно сложилась жизнь этого замечательного человека. За семнадцать дней до окончания Казанской духовной академии Александр Васильевич был исключен из нее за «неодобрительное поведение и вредное влияние на товарищей».

Что ж, начальство не ошиблось. «Поведение» Панова властям не могло нравиться. Этот человек стал профессиональным революционером.

В 1902 году, отбыв очередную ссылку, Панов приехал в Нижний Новгород. Алексей Максимович устроил его на работу в «Нижегородский листок». Прекрасный журналист и библиограф, Панов скоро стал одним из активных сотрудников газеты. Кроме того, работал в магазине «Книжный музей», в подвалах которого хранились нелегальные издания.

Панов возобновляет революционную деятельность — распространяет среди населения запрещенные издания, получая из-за границы революционные газеты и журналы. В магазин поступали все издания товарищества «Знание» и другая прогрессивная литература. За магазином устанавливается слежка.

Несколько раз в «Книжном музее» проводили обыски, конфисковывали некоторые брошюры, но главный склад обнаружить так и не удалось,— Панов был умелым конспиратором.

Страстный книголюб, Панов, несмотря на то что всю жизнь по воле царской полиции кочевал из города в город, где бы он ни жил, немедленно обрастал книгами. И почти всегда это были книги, «изъятые из обращения», то есть такие, в которых билась свободная революционная мысль.

В Нижнем вся его небольшая комната вскоре оказалась завалена книгами. Книги поглощали воздух, которого так не хватало больным легким Панова,— гонения и ссылки сделали свое злое дело: он заболел туберкулезом.

Но книги привлекали к нему молодежь — десятки юношей и девушек приходили в эту маленькую комнату, чтобы почитать, поспорить. Приходили тайком, по ночам, перелезая через забор, а потом забираясь в окно.

Сидели до утра, и Панов, похлопывая ладонью по книге, задыхаясь, кашляя, сиповатым голосом учил их читать между строк. Полиция не дремала и нередко засылала на эти собрания своих агентов.

Алексей Максимович искренне любил Панова, восхищался его идейностью и бесстрашием. Он рассказал о Панове такую историю. Поводился ходить к Панову один юноша. Александр Васильевич подолгу разговаривал с ним, давал читать книги. Юноша нравился ему, смысленный, воспитанный. Но вот однажды он пришел и, не раздеваясь, не здороваясь, сказал виновато и решительно:

— Я больше к вам не приду. Я шпион, служу в жандармском управлении. Я должен был к вам ходить, но не могу, нет сил!

Панов удивился и растерянно забормотал:

- Да как же, да зачем же вы? Вы так не похожи на шпиона. Нет, ходите, ходите, пожалуйста... Если вы перестанете ко мне ходить, это может вам повредить, а ко мне все равно подошлют другого шпиона. А вы ходите, учитесь понемножку, потом станете порядочным человеком, будете народу служить...

Шпион расплакался и ушел, а вскоре и совсем исчез из города...

Через месяц после приезда Панова в Нижний Новгород «Нижегородский листок» напечатал его большую библиографическую статью, в которой, якобы отвечая на вопросы читателей, приводился большой список книг, рекомендуемых для «домашнего университета». А еще через несколько дней охранники перехватили письмо некоего «Н. С», который писал в Казань, что в «Нижегородском листке» в двух номерах помещен «замечательно хороший список... Просто смешно, до чего иногда мало надо, чтобы замазать глаза цензуре... Читаешь — и душа радуется!»

Прошло еще немного времени, и Панов, дав притупиться полицейской бдительности, расширил и дополнил свою статью и издал ее в Нижнем Новгороде отдельной книгой под названием «Домашние библиотеки». Книжка вышла в яркой красной обложке, а на обложке эпиграф из Некрасова:

В наши великие трудные дни

Книги не шутка: укажут они

Все недостойное, грубое, злое...

В предисловии к своей книге Панов писал, что рассчитана книга на широкий круг читателей, что в ней два раздела: литература для народного чтения — 487 названий и книги для интеллигенции — 855 названий. Указывал Панов и адреса складов: главный склад у автора — Нижний Новгород, «Книжный музей» и отделения в Москве и Петербурге...

Алексей Максимович принял горячее участие в распространении книги Панова. Он писал в Петербург Пятницкому:

«Посоветуйте Гусеву — хозяину «Книжного музея»,— где устроить склад изданного в Нижнем каталога домашних библиотек? Нужно эту книжку рассеять в публике раньше, чем начальство соберется изъять ее из продажи».

Слова Алексея Максимовича оказались пророческими. Едва книга появилась в Москве, «блюстители порядка» завели о ней переписку. Начальник московской охраны в своем письме писал, что, по имеющимся сведениям, магазин «Книжный музей», кроме коммерческих целей, преследует еще и другие, и просил сообщить данные об издателе брошюры А. В. Панове, который будто бы принадлежит к старым революционерам, а также просил выяснить, сколько, кому и куда отправлено книг.

Не миновать бы Панову нового ареста и высылки, если бы не друзья. Чтобы спасти его от неминуемой расправы, они снабдили его деньгами и отправили в Крым на лечение, в котором он так нуждался.

Вернулся Панов в Нижний Новгород в безнадежном состоянии. И вскоре скончался, тридцати семи лет от роду.

Похороны Панова превратились в политическую демонстрацию. На белой ленте, украшавшей венки, молодой революционер Яков Свердлов написал красными буквами: «Неуклонно шедшему от идущих».

Триумф

Вечер 18 декабря 1901 года навсегда вошел в историю русского театрального искусства. В Московском Художественном театре давали премьеру пьесы Алексея Максимовича Горького «На дне».

В зрительном зале — весь цвет московской интеллигенции: писатели, художники, музыканты, артисты, профессора. На сцене — знаменитые актеры, гордость русского театра: Станиславский, Москвин, Качалов, Вишневский, Книппер, Андреева...

Закрылся занавес. В зале молчание. Гробовое молчание. И вдруг напряженную тишину разрушил шквал аплодисментов.

— Автора! Автора!..

Высокий, угловатый, смущенный, он, чуть горбясь, вышел на сцену, в волнении забыв бросить папиросу, и так кланялся зрителям, не вынимая папиросы изо рта, неловкий и счастливый.

А потом, улыбаясь, уходил за кулисы, тыкал окурки в пепельницу и, снова закуривая, опять шел на сцену, к зрителям. Зал сотрясся от аплодисментов, от восторженных возгласов. Алексея Максимовича вызывали больше двадцати раз.

— А хорошо, черт побери,— повторял он.— Вот история-то с географией!— и с этими

словами снова выходил на сцену.

После спектакля Алексей Максимович пригласил труппу Художественного театра ужинать в ресторан «Эрмитаж». Собралось человек сто. Настроение у всех было радостное, приподнятое. Все поздравляли друг друга.

Во время ужина Алексей Максимович подходил к актерам, чокался и сквозь слезы радости говорил шутливо:

— Черти вы этакие, хорошо играли!

И тогда Качалов голосом Барона — именно этого героя играл он в пьесе «На дне» — громко ответил: «— Ну, дальше?..»

А Москвин, исполнявший роль Луки, тут же возразил ему: «— Ты погоди, милый, не в слове дело, а почему слово говорится...» И полетели по залу фразы из только что сыгранной пьесы.

— Что вам хотелось сказать зрителю своим спектаклем? — спросил кто-то Алексея Максимовича.

Он лукаво кашлянул, прищурил глаза, провел ладонью по щеке и ответил, окая больше обычного:

— Чтобы, понимаете, не так спокойно им в кресле бы сиделось, и то уж ладно...

Алексей Максимович добился своего. На следующий день после спектакля газета «Русское слово» писала:

«Дивное зрелище неописанной красоты представилось нашим глазам. Под грязью, под смрадом, под гнусностью, под ужасом в ночлежке среди отребьев: жив человек! Эта пьеса — песнь! Эта пьеса — гимн человеку! Она радостна и страшна. Страшна! Видя «на дне» гниющих, утонувших людей, вы говорите своей совести: «— Что ж, они уже мертвые. Они уже не чувствуют.— Вы спокойны, что бы с ними ни делалось. И вот вы в ужасе отступаете:— Они еще живы!..»

Незнакомый, Горьким «открытый» мир, в его истинном смысле и внутренней правде, мир людей, с которых стерлись все общественные краски, показан в пьесе «На дне». Это потрясло зрителя. И выражен был этот мир в сложных и живых характерах. Горький рассматривал пьесу «На дне» как прокламацию.

Писатель А. Серебров в своих воспоминаниях рассказывает, что Горький говорил о Сатине:

«...Хорошо играет Константин Сергеевич, замечательно играет, но несколько неуверенно — про Человека... В мечтах... Через двести, триста лет, по-чеховски... А Человек-то — вот он, пожалуйста, налицо... в каждом из нас... Пружина! Люди без него скотам подобны. Я бы, знаете, не постеснялся подать его прямо в публику, как прокламацию. Погромче...»

А в 1928 году в ответ на письмо курских красноармейцев Горький пишет:

«Товарищи! Вы спрашиваете: «Почему в пьесе «На дне» нет сигнала к восстанию?» Сигнал этот можно услышать в словах Сатина, в его оценке человека... Само собою разумеется, что проповедь социализма я не мог вложить в уста людей, разбитых жизнью, неспособных к труду, готовых поддаться всякому утешению... Почему я взял именно «бывших» людей и заставил именно их говорить то, что они говорят в пьесе? Потому, что эти люди оторвались от класса своего, свободны от мещанских предрассудков, им уже ничего не жалко, но — в этом и все их лучшее. К восстанию ради свободы труда они органически не способны».

Кто знает, может быть, никогда не смог бы Алексей Максимович с такой правдивостью, с таким пониманием изобразить своих героев, если бы с детства не пришлось ему соприкоснуться с ними, быть свидетелем тяжелой их жизни.

Дно

В дореволюционной России с незапамятных времен в каждом крупном торгово-промышленном городе были трущобы, где ютились «бывшие» люди, босяки, отбросы жизни.

В Петербурге — знаменитая Вяземская лавра, в Москве — Хитров рынок, а в Нижнем Новгороде — Миллионка.

На Западе обитателей трущоб называли «люмпен-пролетариат», то есть пролетариат в лохмотьях. В России их звали просто — босяки. В каждом городе было у них и свое

местное прозвание. В Нижнем Новгороде их насмешливо именовали золоторотцами. Трущобы редко находились на окраине города — обычно они располагались в центре, рядом с богатыми торговыми улицами, были не краем города, а именно дном. Алеша Пешков, отправляясь с ребятами купаться на Волгу, не раз пробежал по кварталам Миллионки. Грязные, узкие, давно не мощенные улицы. Покосившиеся дома с облупленной штукатуркой. Из труб стелется черный дым.

В домах не комнаты — клетушки и чуланы. Грязные, закоптелые лестницы. На веревках, протянутых через улицы, сушится тряпье, возле заборов помойки.

Улица кишит пестрым, оборванным, голодным людом. В кучах мусора роются голодные дети.

Бледные, худые, с большими животами и тоненькими ножками-спичечками, они собирают тряпки, окурки и осколки посуды.

Вдоль мостовых сидят торговцы и торговки. На лотках перед ними разложены сбои — прикрытые грязными тряпками, плохо промытые внутренности животных. Густой пар и зловоние исходят от них.

Рядом бочата с квасом, разбавленным водой, деревянные миски с солью, куски черствого ржаного хлеба. Зимой сбои продавались подогретыми, и торговки «для сугрева» сидели на корчагах с угольями. У них же можно было «согреться» и стаканчиком водки.

Почти в каждом доме — кабак. Бесперывно хлопают двери, люди снуют взад и вперед. А на солнечной стороне улицы множество недвижимых тел — пьяные, а может, те, кому не было где выспаться ночью.

Проходят грузчики с ярмом за спиной и большим крюком на обрывке веревки — богатыри в лохмотьях. А вот — спившиеся мастеровые, бродяги и воры, худые, изможденные, лица опухшие, в ссадинах, кровоподтеках...

Шумливо жила Миллионка.

Днем — ругань, драки, свистки полиции, крики о помощи, плач и стоны избитых женщин.

Ночью — дикие пьяные песни, облавы, плач голодных детей.

Алеша Пешков с юности присматривался к людям, заброшенным судьбой в грязный каменный уличный мешок. Были среди босяков люди с высшим образованием, с «положением», — доктора, инженеры, купцы, адвокаты, люди всех возрастов и званий. Босяцкая жизнь соединила их в одно целое, в плотную массу, где все равны, где нет ни чинов, ни привилегий...

Когда не было работы, они не брезговали мелким воровством на баржах и пароходах, но зато с каким увлечением, не щадя сил, работали на спешных погрузках, на пожарах, во время ледохода.

Жизнь их, при всем своем внешнем безобразии, была куда чище жизни мелких людишек, «которые дрались и судились из-за того, что сын соседа перебил камнем ногу курице или разбил стекло в окне; из-за того, что пригорел пирог, переварилось мясо во щах, скисло молоко...»

Беда соседа вызывала у этих благополучных мещан искреннюю радость. Копейка заменяла им солнце в небесах и разжигала грязную вражду. А босяки... Да, это были потерянные, выброшенные за борт жизни люди, и конечно, Горький понимал всю беспросветность их существования и ни в какой мере не идеализировал босяков. Но на фоне тупого мещанского существования их жизнь была особенной, потому что она бросала вызов хозяевам.

Вот как через много лет написал о своем отношении к босякам сам Алексей Максимович: «Странные были люди среди босяков, и многого я не понимал в них, но меня очень подкупало в их пользу то, что они не жаловались на жизнь, а о благополучной жизни «обывателей» говорили насмешливо, иронически, но не из чувства скрытой зависти, не потому что «видит око, да зуб неймет», а как будто из гордости, из сознания, что живут они — плохо, а сами по себе лучше тех, кто живет «хорошо»...

Вот чем объясняется мое пристрастие к «босякам» — желанием изображать людей «необыкновенных», а не людей нищеватого, мещанского типа».

Как помочь людям?

В 1892 году на Россию обрушился голод. К неурожаем в России привыкли. «Недородный» год сменялся «неурожайным», «неурожайный» — «недосевным».

Но 1892 год пришлось откровенно назвать голодным. Голод охватил всю южную часть Нижегородской губернии и Поволжье. Крестьяне снимались с насиженных мест и целыми деревнями уходили на поиски работы и хлеба.

И потянулись по русским дорогам «похоронные процессии без покойников...» Женщины с маленькими детьми на руках. Дряхлые старики, еле передвигая ноги, шли, опираясь на палки. Больные, исхудалые, изможденные, в лохмотьях, они шли из деревни в деревню, из села в село.

Но работы нигде не было, и хлеба тоже не было. И, дотащившись до большого города, эти люди становились босьяками...

Алексей Максимович ходил в те годы по России из города в город, из села в село. Он не только своими глазами видел эти страшные процессии голодающих, но многие версты шел вместе с ними, слушал и навсегда запомнил их горестные рассказы.

Однажды ехал он на пароходе вниз по Волге. На одной из пристаней хлынули на пароход голодающие. Их было около сотни, всё больше старики, старухи, бабы с грудными ребятами на руках и дети — много детей. Худые лица обтянуты бескровной серой кожей. Цепляясь за подола матерей и бабушек, желтоволосые, чумазые, они молча входили по сходням на пароход и, очутившись на просторной, чистой палубе, останавливались и смотрели вокруг широко раскрытыми глазами.

Алексей Максимович оглядывался: беспомощные, несчастные люди. Лохмотья и пустые котомки... Как помочь им? И потом, на всем протяжении пути, на пароходе стоял стон. Плакали голодные дети на груди у голодных матерей. Матери шикали на них, баюкали, пытались успокоить. Все это сливалось с глухим шумом машины, скорбно гудело, и от этого гуда тяжело и больно становилось на сердце.

В начале девятисотых годов в Европе разразился промышленный кризис. Вскоре перекинулся он и в Россию. Было закрыто около трех тысяч крупных и мелких предприятий. Свыше ста тысяч рабочих осталось без работы.

Правительство, опасаясь беспорядков, начало в принудительном порядке отправлять безработных в деревни, «на родину». Но и в деревнях было голодно. Крестьяне, как и десять лет назад, целыми селами тянулись в город, шли по миру. Страшны были российские дороги: рабочие в поисках хлеба шли в деревни, крестьяне — в город.

В феврале 1901 года ленинская «Искра» писала:

«Безработица фабричных и заводских рабочих, голодовка крестьян — вот с чем вступает Россия в XX столетие».

В 1901 году тридцать миллионов крестьян оказались на пороге голодной смерти. Теперь среди босьяков были уже не только погрязшие в кутежах и разврате дворянские и купеческие сынки да проворовавшиеся чиновники, не только крестьяне и мелкие ремесленники, но и квалифицированные рабочие.

В Нижнем Новгороде в 1901 году было зарегистрировано четыре тысячи босьяков. А сколько их было несчитанных, каждый день умирающих с голода?!

Страшное зрелище представляли нижегородские ночлежки. Сотни тел, прикрытых тряпьем и рванью, лежали среди страшного зловония на нарах, под нарами, на липком от грязных лаптей полу, в боковушках, углах, коридорах. В открытые форточки врывался сырой холодный воздух, но и он не в состоянии был освежить помещение. Кашель, стоны, ругань, плач детей...

Негромкий, но густой говор сливался с храпом спящих. Где-то плескали водой. Точно крысы в темном погребе, день и ночь суетились в ночлежке голодные, грязные люди. Часто в ночлежках вспыхивали драки между крючниками, которые зарабатывали на жизнь тяжелым трудом, и ворами-босьяками. Ночлежники терпели воров, но когда вор вместо «работы», то есть воровства на стороне, обкрадывал «миллионщика», вытаскивая у него последний кисет с табаком или самое дорогое для босьяка — паспорт (беспаспортного, как бродягу, полиция безжалостно высылала из города), — виновного били смертным боем. Зимой из ночлежных домов выгоняли людей на улицу в шесть часов утра и пускали обратно лишь в пять вечера. Очереди выстраивались с трех часов пополудни, и отнюдь

не всем «счастливым» удавалось вернуться на ночлег. А куда деваться днем? И шли голодные, бездомные люди в кабаки и трактиры.

Трактирщики охотно спаивали жителей Миллионки. Брели в залог за водку пальто, обувь, последнюю рубашку и в кредит давали. Глядишь за зиму босяк наест-напьет в трактире рублей на семьдесят, а то и на все сто, а летом, когда подработает на Волге или на ярмарке, приходится возвращать долг, да еще с огромными процентами.

И уходил весь летний заработок на погашение долга, а зимой снова безденежье, снова голод и холод,— и опять шли золоторотцы в кабалу к трактирщику.

Алексей Максимович хорошо знал этот жестокий закон босяцкой жизни. Он выступил в «Нижегородском листке» со статьей «О человеколюбии в связи с искусством на обухе рожь молотить». В этой статье он писал:

«Большинство босяков находятся в вечной кабале у содержателей ночлежек и разных притонов. Это — закон их существования, одинаково тягостный для них и в Нижнем, и в Одессе, и в Москве, и в Ростове Это — закон, «его же не преjdeши», если не хочешь умереть с голода... Мы должны прежде всего стараться вырвать золоторотцев из кабалы частных лиц, которые являются полными хозяевами душ и тел босяков»

Алексей Максимович загорается мыслью открыть для босяков клуб и столовую, где они могли бы проводить в тепле весь день, где были бы разумные развлечения, никто не спаивал бы их и не обирал.

Он поднимает всю прогрессивную общественность города. Начинается сбор средств для босяков. И вот 31 декабря 1900 года в Миллионке, рядом с ночлежкой Бугрова, была открыта бесплатная читальня имени А. С. Пушкина.

В первом этаже большого дома разместилась дешевая народная столовая, во втором — читальня.

Одним из членов комитета читальни были близкий друг Горького — С. В. Щербаков, а библиотекарем — молодой поэт из народа, ученик Горького, Н. И. Новиков.

Что говорить, странное впечатление производила эта читальня, расположенная в самом сердце Миллионки. Грязные кабаки. Взад и вперед по улице снуют оборванцы, они толпами сидят на тротуарах, хриплый хохот и дикий визг... Бесконечные пьянки. И в этой клоаке на небольшом двухэтажном чистеньком доме вывеска: «Пушкинская народная читальня».

В большой комнате, за длинными столами, уселись босяки в лохмотьях, опорках, нечесаные и небритые, сидят на окнах, стоят, прислонившись вдоль стен.

Да, это те же люди, которых мы только что видели в кабаках и на улице. Но как тихо открывают они дверь, как осторожно, на цыпочках, входят в библиотеку, шепотом спрашивая у библиотекаря книгу. Потом долго вытирают руки о рубаху, принимая книгу, как что-то хрупкое и самое дорогое.

Сидят молча, сосредоточенно. Тишине и порядку могла бы позавидовать любая городская читальня. За год в Пушкинской читальне не пропало ни одной книги, никто не вырвал ни одной страницы, ни одной картинки. А в это время газеты писали о пропажах книг в мировых библиотеках: в Лондонской Королевской, Национальной Парижской, Императорской публичной...

Список книг, которые допускались в народные читальни, был очень ограничен, однако организаторы постарались приобрести все лучшее, что только было возможно.

Прекрасно иллюстрированные книги: «Живописная Россия», Брем, Фабр, журналы для детей старшего возраста — «Родник», «Всходы», в которых печаталось много исторических и географических повестей, комплекты журнала «Нива», «Север», «Живописное обозрение», «Новь». Романы Жюль Верна, Майн Рида, Шеллера-Михайлова...

А книги Алексея Максимовича Горького для народных читален были запрещены.

Только за первый месяц после открытия читальню посетило пять тысяч человек, а всего за 1901 год в ней побывало сорок восемь тысяч. Правда, посетители — только мужчины, потому что женщины и дети в те годы почти все были неграмотными. Но случалось, что порог читальни переступали ребяташки постарше и спрашивали толстую книжку с картинками.

Примостившись где-нибудь в уголке, они с жадностью листали страницы «Нивы», а осмелев, начинали просить библиотекаря:

— Дяденька, научи нас грамоте, читать охота, а мы не умеем...

Посещала читальню одна обитательница Миллионки. В странном старомодном костюме, с серым, словно застывшим лицом,— посмотришь на нее и не сразу поймешь, молодая она или старая,— женщина с жадностью просматривала все местные газеты и с упоением читала новые романы. Однажды она рассказала библиотекарю, что когда-то училась в Казанской консерватории.

Нередко появлялся в читальном зале очень высокого роста босяк, с эспаньолкой и гривой густых черных волос. Его интеллигентное выразительное лицо, барская речь с легкой картавостью, оригинальный костюм невольно обращали на себя внимание.

Большую часть года ходил он босой, с распахнутой грудью, носил длинную нижнюю белую рубаху, за что получил прозвище «барин в белье». Изящным жестом останавливая на улице прохожих, он выпрашивал у них монетку и называл себя артистом Соколовским-Колосовским.

Еще один посетитель... Старый спившийся человек, бывший профессор, с важным видом каждый день прочитывал газету «Русские ведомости», в прошлом любимую свою газету. Приходил расстриженный дьякон, который иногда печатал в старообрядческих журналах статьи против духовенства.

Очень любили босяки книгу Сервантеса «Дон-Кихот».

— Над ней и поплакать и посмеяться можно...— говорили они. А про сочинения Льва Толстого говорили так:

— Очень уж правдиво пишет, у него все понять можно... О Гоголе:

— И смешно, и горько. Про Пушкина:

— Читать его легко и увлекательно.

Случалось наблюдать и такую сценку: появляется босяк и спрашивает библиотекаря доверительно:

— Дюм есть?

Это означало, что ему требуется приключенческий роман. Причем автором его не обязательно был знаменитый французский романист Дюма, просто слово «Дюм» у босяков означало увлекательное чтение.

Многие просили дать им книги, в которых можно прочитать о том, «как по-настоящему жить надо», «отчего зло на свете» или «как выучиться мастерству какому-нибудь»...

Переполнена и Пушкинская столовая. За несколько копеек там можно было получить тарелку горячих щей и большой кусок хлеба. Весь день у дверей столовой стояли толпы. Многие, прихватив кипятку и хлеба, располагались прямо на лестнице или лестничной площадке.

Клуб «Столбы»

Да, теперь босяки получили угол, где они могли коротать студеные зимние дни. Но Алексей Максимович понимал: этого мало. Он загорелся новой идеей — открыть на Миллионной улице клуб для босяков.

И снова в «Нижегородском листке» появляются его статьи. Одна из них называлась «Для золотой роты». В ней Алексей Максимович писал о том, что зимой в городе, увы, увеличивается число мелких краж, что люди часто сознательно идут на воровство, стараясь, чтобы их поймали и посадили в тюрьму, потому что тюрьма является для них единственным спасением от голодной и холодной смерти под забором.

«Зимний день для босяка — день мучений от холода,— пишет Алексей Максимович.— Одетые в лохмотья, полуголые босяки заполняют городские частные «чаевни», набиваясь в них, как сельди в бочки, и все же множество людей остается лишенными возможности нагреться где-либо. Такое положение дела раздражает и озлобляет полуголых, полуголодных людей, которым нечего терять в жизни, ибо уже все потеряно ими, кроме самого желания жить».

Алексей Максимович обещает, что вскоре на Миллионной улице откроется для золоторотцев трактир-клуб, в котором за самую дешевую плату можно будет выпить чаю, пообедать и даже переночевать. При новом трактире-клубе организуется небольшая библиотека-читальня, где будут проводиться беседы и чтения.

За порядком и чистотой в новом клубе должны будут следить сами золоторотцы. А также

наблюдать за тем, чтобы не было в клубе азартных игр — в карты или в орлянку. Пусть люди хоть на время почувствуют себя полноправными людьми, хозяевами своего дома. Снова поднимается на ноги вся интеллигенция Нижнего Новгорода. Объявляется сбор средств.

На помощь босяцкому клубу пришли врачи и юристы, инженеры и учителя, артисты и музыканты и, конечно же, студенты... В несколько дней была организована читальня, активисты жертвовали свои книги, собирали их у друзей и знакомых.

Алексею Максимовичу удалось добиться разрешения получать для библиотеки не только местные газеты, но и центральные.

Врачи-энтузиасты В. Н. Золотницкий, Н. И. Долгополов, Н. А. Грацианов организовали при чайной бесплатную амбулаторию. Чтобы закупить инструменты и бесплатные медикаменты для босяков, артисты Нижнего Новгорода дали несколько благотворительных концертов и вечеров, весь сбор от которых был передан в фонд новой амбулатории.

Главным бедствием Миллионки было повальное пьянство. Врачи устроили в больнице большую выставку. Специальная таблица рассказывала о том, сколько денег в среднем пропивают обитатели Миллионки и что на эти деньги можно было бы купить. У входа в клуб повесили большой плакат:

«Спирт есть такой же яд, как мышьяк, как белена, как опиум и как множество других веществ, убивающих человека. Когда народ пожелает, он сумеет довести дело до того, что водку будут брать только из аптек по рецептам докторов. Тогда у нас будет больше света и больше счастья».

Новый клуб был назван «Столбы», потому что разместился он в доме с колоннами.

Открылся клуб 21 ноября 1901 года, в Миллионке, неподалеку от ночлежного приюта Бугрова.

Когда-то здесь помещался грязный притон, где каждый день случались грабежи, драки, а подчас и убийства. Здесь босяки пропивали последние гроши, здесь теряли они образ и подобие человеческое.

И вот в этом самом доме, где еще недавно до поздней ночи раздавались пьяные выкрики, вопли и сквернословие, началась совсем другая жизнь.

Посетители те же. Одежда — грязное и рваное рубище. На ногах дырявые лапти или просто тряпки, примотанные мочалой, на головах картузы без козырьков. Но взгляните в лица этих людей! Куда девалось пьяное озверение, тупость! Искренний интерес, внимание, благодарность написаны на лицах...

С утра до вечера «Столбы» набиты людьми.

А вскоре в клубе начались бесплатные публичные чтения и концерты.

Теперь в газетах «Волгарь» и «Нижегородский листок» можно было прочесть такие сообщения:

«В чайной «Столбы» 29 декабря будет прочтено «Не все коту масленица».

«30 марта в чайной «Столбы» прочтена комедия Грибоедова «Горе от ума». Публика слушала с большим вниманием, чтение продолжалось около двух часов».

«13 апреля в чайной «Столбы» будут прочтены стихотворение Некрасова «Жена ямщика» и пьеса Островского «Тяжелые дни».

«19 октября в чайной «Столбы» состоялось обычное музыкальное утро. Публики набралось более пятисот человек, некоторые явились задолго до начала. Рассказ Гаршина «Четыре дня» настолько сильно подействовал на публику, что слышались сдержанные рыдания».

Писали нижегородские газеты о том, что во время чтения в помещении царит мертвая тишина, никто не повернется, не пошевелится, все взгляды устремлены на эстраду. А когда кончается номер, вместо аплодисментов слышатся возгласы:

— Спасибо вам, спасибо, благодарим вас!

После концерта слушатели долго не расходятся — а вдруг еще что-нибудь покажут?

Таких клубов, как нижегородские «Столбы», не было ни в одном из городов России. Это прекрасное дело обязано своим появлением на свет Алексею Максимовичу Горькому.

Просуществовал клуб около шестнадцати лет, вплоть до самой Октябрьской революции.

Горький и босяки

Алексей Максимович был частым посетителем Миллионки. Наведывался в чайную «Столбы», заходил в ночлежный приют Бугрова. Он мог часами разговаривать с босяками, сочинял для них письма, прошения, жалобы.

В ночлежке жил его двоюродный брат Александр Михайлович Каширин, тот самый, которого Горький вывел в повести «Детство» под именем Саши Михайлова. «Мне гораздо больше нравился малозаметный увалень Саша Михайлов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать».

Саша Михайлов — он же Александр Михайлович Каширин, тихий и мечтательный, не мог приспособиться к затхлой мещанской жизни, царившей в те годы в России. Чтобы выбиться «в люди», нужно было льстить, подхалимничать, лгать, изворачиваться. Не умел он этого. Не мог кривить душой, а сил идти против течения тоже не хватало. Слабый, безвольный юноша, романтик и фантазер, Саша стал пить и, сам того не замечая, очутился «на дне».

Веселый, остроумный, он обладал хорошим голосом, пел, отлично играл на гармонике. Алексей Максимович от всей души любил этого честного неглупого человека, несколько раз вытаскивал его из Миллионки, одевал, обувал, давал денег. Но все усилия были напрасны. Засосала Сашу бездельная босяцкая жизнь.

В 1901 году Алексей Максимович увез с собой Сашу в Крым, устроил сторожем на винограднике в Массандре. Там у Саши был маленький отдельный домик. Казалось бы, жить да радоваться. Поначалу он был счастлив — свой угол, работа, чистая одежда. Казалось, начинается новая жизнь. Но прошло несколько месяцев, его снова потянуло на Волгу, и вскоре опять очутился он в Миллионке. Так и умер босяком, в 1908 году, от тифа...

А нередко случалось, что босяки сами наведывались к Алексею Максимовичу.

Однажды пришел к нему человек, оборванный — типичный босяк. Поглядеть на него — богатырь! Молодой, красивый, рослый, с добрыми голубыми глазами. Он понравился Горькому.

Застенчиво переступая с ноги на ногу, робко рассказал, что принес на суд Горькому свой рассказ. Алексей Максимович ласково принял гостя, напоил кофе, прочитал рукопись. Рассказ был слабый, но чувствовался в нем талант, и Алексей Максимович похвалил, помог доработать и напечатал рассказ в «Нижегородском листке».

Босяк стал часто бывать у Пешковых, а в «Нижегородском листке» время от времени появлялись его произведения. Однако писатель из него не получился. Он стал артистом. В 1903 году выступал в труппе Народного дома в Нижнем Новгороде, а после революции стал актером Малого театра, где исполнял ведущие роли и получил почетное звание заслуженного артиста РСФСР. Фамилия его была Якубов, а театральным псевдонимом — Нароков. Михаила Семеновича Нарокова хорошо знали московские театралы.

М. С. Нароков оставил интересные воспоминания, в которых рассказал о своей молодости, о Миллионке, о «дне», о своих встречах с Алексеем Максимовичем.

Босяки гордились дружбой с Горьким, хотя порой и злоупотребляли ею. Часто в квартире Пешковых раздавался звонок. Открывают, на пороге стоит золоторотец и с важным видом заявляет:

— Я босяк Максима Горького, хочу его видеть!

Обычно все эти посещения оканчивались просьбами о денежной помощи. Писатель Скиталец вспоминает, как однажды, возвращаясь с Алексеем Максимовичем домой, они увидели возле подъезда обтрепанных, дрожащих на морозе босяков, которые стояли шеренгой, в очередь, как обычно стоят у дверей винной лавки, ожидая открытия.

— Эй ты, рыжий! — крикнул один из босяков Алексею Максимовичу. — Куда лезешь? Надел дипломат, а на калоши не хватило?

Алексей Максимович улыбнулся.

— Разве я рыжий? — застенчиво спросил он.

— Знамо, рыжий! Не пускай их, ребята, пусть в очередь встанут!

— Да я здесь живу... — скромно возразил Алексей Максимович. Он спросил босяков, почему они здесь толпятся.

— Подают здесь...

— Кто же подает?

— А кто его знает! Горький какой-то подает... Взял за женой миллион, вот и подает.

— Кто же этот Горький?

— А просто добрый человек. Гремит его имя, а кто он, нам неизвестно...

Нередко в ночлежке какой-нибудь бойкий босяк собирал вокруг себя любопытных и заводил рассказ о том, как он был дружен с Горьким, как они вместе крючниками работали, в ночлежке на одной наре спали...

— Максимыча-то не знать? — важно приговаривал он. — Да мы с ним, почитай, полгода вместе спали, одним шубняком укрывались...

И рассказчик высокомерно поглядывал на слушателей.

Каких только легенд не сочиняли босяки о Горьком! Например, такую:

Жили два босяка. Дружки они были, и все у них пополам — и горе и радость. Одного звали Алексеем Пешковым, а другого — Горьким. Алексей здоровенный был детина, человек жестокий и гордый. А Горький — хворый, чахоточный, характером скромный и сердце имел жалостливое. И все этот самый Горький писал чего-то да в сундучок складывал. Полон сундук набил.

Вот пришла пора Горькому помирать. Он перед смертью и завещал сундучок своему другу:

— Нет, говорит, у меня ни роду, ни племени, один ты, Алексей, у меня друг. Возьми себе мой сундучок, в нем, правда, никакого добра нет, кроме тетрадок моих. Но, говорит, знающие люди тебе за них большие деньги дадут. Только ты их не на обертку продай, а напечатай и выпусти в свет. Сам, говорит, я этого сделать не успел, потому что еще не достиг настоящего совершенства, а теперь помираю, так пускай уж после моей смерти напечатают, а деньги ты получи!

Сказал так Горький и помер. А Пешков начал его тетрадки в журналах печатать и Горьким подписываться. Тут началась его слава, деньги рекой полились. Возвеличили человека... Алексея Максимовича очень забавляли эти истории, и он не раз, хитро посмеиваясь, пересказывал их друзьям.

Рождение спектакля

Лев Николаевич Толстой записал в своем дневнике 11 мая 1901 года, что Горький показал босяков во весь рост, любя их, и заразил нас этой любовью.

Это было истинной правдой. Теперь, встречая босяка, люди невольно видели за его лохмотьями Челкаша, Коновалова, Сережку Орлова — образы, созданные Максимом Горьким. Такова сила подлинного таланта: писатель заставляет других смотреть на людей своими глазами, учит в них видеть то, что до той поры скрыто было от постороннего и равнодушного взгляда.

Рассказами Горького «Емельян Пиляй», «Челкаш», «Проходимец», «Бывшие люди», «Мальва» и другими, где была изображена жизнь босяков, в те годы зачитывалась вся Россия. Но даже этот огромный успех померк перед той, поистине мировой славой, которую принесла Алексею Максимовичу пьеса «На дне».

В 1900 году Горький был в Ялте. Там он познакомился с артистами молодого тогда Московского Художественного театра. Труппа приезжала к больному Антону Павловичу Чехову, чтобы показать ему спектакль «Чайка».

Алексей Максимович увлеченно рассказывал о босяках Станиславскому и Немировичу-Данченко. Говорил, что ему хочется написать пьесу, главным героем которой должен стать босяк — бывший лакей. Когда-то лакей этот служил в богатом доме, но спился, опускался все ниже и ниже и в конце концов оказался «на дне».

Единственное, что напоминало ему о прежней жизни — воротничок от фрачной рубашки. Он берег его пуше зеницы ока, иногда доставал из сундучка, надевал перед осколком зеркала, долго глядел на себя, переживая прошлое.

В пьесе «На дне» такого персонажа нет. Но припомним ее героев — у каждого из них есть свой «воротничок», то есть что-то дорогое, что связывало их с прежней жизнью.

У Барона — это воспоминание о принадлежавших ему когда-то домах и каретах с гербами. У актера — свет рампы и аплодисменты. У Сатина — множество прочитанных книг с красивыми непонятными словами.

Встреча в Ялте явилась началом большой творческой дружбы писателя Максима Горького с Московским Художественным театром, который ныне носит его имя. Прошло несколько месяцев, и Алексей Максимович принес в Художественный театр пьесу «Мещане». Передавая ее, он сказал, лукаво улыбаясь, что в задумке у него есть еще одна, более важная, более нужная пьеса. Это и была пьеса о босяках. Поначалу называлась она «Без солнца», потом «Ночлежка», «На дне жизни» и, наконец, «На дне». Так посоветовал назвать пьесу Владимир Иванович Немирович-Данченко. В апреле 1901 года Алексей Максимович был арестован за приобретение мимеографа для печатания прокламаций в Сормове, а потом выслан в город Арзамас. В Арзамасе он продолжал работать над пьесой. Письма того времени ярко и живо рассказывают об этой работе.

«Усиленно занят собиранием снимков с босой команды для театра»,— пишет он одному из своих друзей.

А вот письмо к Немировичу-Данченко:

«Ночлежку нужно снять в Москве, Нижнем, вообще в Великороссии. Я, может быть, достану снимки».

Горький просит нижегородского фотографа Дмитриева сделать снимок с натуры бывшего актера, ныне босяка Соколовского:

«...Увековечьте, мне эта фигура очень нужна... Затем, не найдете ли среди золотой роты чью-нибудь физию побойчее — нужна рожа озорника для грима в моей новой пьесе... Соколовского снимать в шляпе, если у него не обрита борода, и без шляпы, если он бритый. Еще нужен худой, злой. Нужно еще парочку толстых оборванцев. Стариков двух. Всего потребно мне 14 человек.

Посмотрите в Вашей... коллекции, не найдется ли чего подходящего. И — очень прошу Вас! — сделайте, если можно, поскорее».

По просьбе Алексея Максимовича ученик казанской художественной школы ходил в ночлежку и сделал там эскизы для декораций.

В июле Алексей Максимович уже посылает театру «кучу фотографий и рисунки декораций». Одновременно он посылает пьесу Чехову и Телешову, просит высказать свое мнение. Советуется с Антоном Павловичем, как лучше распределить роли.

Пьеса закончена. Алексей Максимович рвется в Москву, но ведь он ссыльный, поднадзорный, и ехать ему нельзя. С горечью пишет он Чехову:

«Ах, если б меня пустили в Москву! До чертиков хочется видеть Вас и быть на репетиции Вашей пьесы. И своей. И видеть всех людей...»

В августе к Горькому приезжает в Арзамас Владимир Иванович Немирович-Данченко. Алексей Максимович читает ему свою пьесу. Вскоре ссылка Горького закончилась, он уехал сначала в Нижний Новгород, а потом в Москву.

В Москве Горький прочел пьесу «На дне» в квартире Леонида Андреева, на одном из литературных вечеров. Были приглашены артисты Художественного театра, знаменитый русский певец Федор Иванович Шаляпин.

Успех был огромный. Художественный театр с увлечением принимается за постановку пьесы. Писатель Гиляровский, хорошо знавший жизнь босяков, устроил «поход» на московское «дно», в трущобы, на Хитров рынок. В «походе» приняли участие актеры Московского Художественного театра. Художник Симов сделал в ночлежке много зарисовок для декораций спектакля.

Константин Сергеевич Станиславский в своей книге «Моя жизнь в искусстве» вспоминает, что, когда они рассказали босякам о цели своего прихода, босяки растрогались до слез. — Чести-то какой удостоились! — слышались возгласы.

— Да что же в нас интересного, чего ж нас на сцену-то нести?!

Эта своеобразная экскурсия заставила актеров лучше почувствовать внутренний смысл пьесы. «Свобода — во что бы то ни стало!» — такими словами можно выразить ее духовную сущность. Та свобода, ради которой люди опускаются «на дно» жизни, не понимая, что именно там они становятся рабами.

Поначалу в ночлежке все шло хорошо. Босяки разговорились. Казалось, артистам удалось войти к ним в доверие. И вдруг один босяк, в прошлом художник, вытащил из сундука свой «воротничок». Это была репродукция с его картины, напечатанная в журнале давным-давно.

С гордостью он показал ее гостям. На картине был изображен старик отец, высокопарным жестом указывающий сыну на долговой вексель. Рядом плачет мать, а сын стоит растерянный, опустив голову...

Босяки с умиленным восторгом разглядывали репродукцию, ожидая, что скажут гости. Вдруг художник Симов, внимательно посмотрев картину, решительно заявил, что она плохая.

Босяки озверели. Глаза их налились кровью. Кто-то схватил табурет, кто-то замахнулся пустой бутылкой. Жизнь Симова была в опасности. И тогда Гиляровский, который хорошо знал нравы босяков, витиевато выругался и заслонил собой Симова. Постепенно босяки успокоились, но прежней доверительности добиться не удалось.

Художественный театр получил разрешение драматической цензуры, и начались репетиции. Роли поручили лучшим актерам: Москвин, Станиславский, Качалов, Тихомиров, Лужский, Громов, Андреева, Книппер,— что ни имя, то знаменитость.

Алексей Максимович присутствовал на всех репетициях. Он проводил в театре целые дни с утра до поздней ночи. Учил Книппер-Чехову, которая играла в спектакле Настю, делать из бумаги козью ножку и сыпать туда махорку. Он даже предлагал привести к ней в дом девицу из ночлежки, чтобы та пожила у нее и Ольга Леонардовна смогла бы перенять ее манеры и глубже понять ее опустошенную душу.

На первых репетициях Василию Ивановичу Качалову трудно давалась роль Барона. Алексей Максимович долго и терпеливо рассказывал ему о босяке, бароне Бухгольце, прототипе героя.

Он прислал Качалову фотографию барона, чтобы Василий Иванович воспользовался этой фотографией для грима. Качалову очень понравился «паричок» — жидкие, коротко остриженные белесые волосы, голова яйцевидной формы, выражение глаз, наивное и недоуменное. А костюм и поза, в которой сфотографировался Бухголец, показались маловыразительными.

Очевидно, барон, приготовившись к съемке, надел чужой костюм, побрился. На портрете он был изображен в чистой, подпоясанной шнурком блузе. Стоял важный, по-толстовски засунув за пояс руки.

Станиславскому, который репетировал роль Сатина, Алексей Максимович подробно рассказал о том босяке, с которого писал Сатина.

Этот еще не старый человек пострадал из-за самоотверженной любви к сестре. Муж ее, почтовый чиновник, растратил казенные деньги. Ему грозила тюрьма. Тогда «Сатин» достал деньги и покрыл растрату. А тот вместо благодарности стал распускать слухи, что зять, мол, не чист на руку.

Клевета дошла до «Сатина», и в порыве бешенства он ударил зятя бутылкой по голове. И убил. Его присудили к каторге. Пока он отбывал наказание, сестра умерла. Он вернулся в Нижний Новгород, где не было у него ни близких, ни родных.

Оборванный, с распахнутой грудью, ходил «Сатин» по улицам и на французском языке просил милостыню. Подавали охотно — дамам нравился его романтический вид.

Ольга Леонардовна Книппер-Чехова вспоминает, как однажды Алексей Максимович приехал на репетицию взволнованный, молчаливый, глядя на игру актеров, то и дело отворачивался и смахивал слезу. Когда его спрашивали, отвечал односложно, нехотя. А потом все-таки не удержался и рассказал:

— Читал я «На дне» в ночлежке, настоящему Барону и настоящей Насте. Понимаете! Плакали в ночлежке. Кричали: «Мы хуже!..» Целовали меня, обнимали...

Репетиции подходили к концу. Алексей Максимович с нетерпением ожидал премьеры. И вдруг... цензура запретила пьесу.

Немирович-Данченко отправился в Петербург, хлопотать. Отстаивать пришлось каждую фразу. В конце концов пьеса была разрешена, правда с оговоркой: только лишь для Московского Художественного театра. И все же цензура продолжала вымарывать из пьесы целые куски. Так из пьесы была вычеркнута роль полицейского пристава. Наконец после дополнительных хлопот, за неделю до премьеры, пришла из Петербурга телеграмма:

«Пристава без слов можно выпустить».

Фраза городского Медведева «бьют для порядка» была вычеркнута жирным карандашом и запрещена категорически. Любопытно, что из пьесы выбросили слово «студент».

Это не случайно — в те годы слово «студент» было синонимом слова «революционер». Наконец пришел долгожданный день премьеры. Газеты самыми восторженными словами откликнулись на спектакль.

«Вчерашний спектакль в Художественном театре может быть назван триумфом г. Максима Горького, как драматурга. Автор пьесы, шедшей в первый раз, весь вечер был предметом восторженных оваций».

«Нечто неподдающееся описанию произошло, когда г. Горький, наконец, вышел на вызовы один. Такого успеха драматурга газеты не помнят».

«Художественный театр пережил один из прекраснейших своих вечеров. Он навсегда останется золотой строкой в летописи этого театра. Успех колоссальный, совершенно исключительный».

Второе представление пьесы «На дне» сопровождалось таким же успехом. Зрители преподнесли Алексею Максимовичу лавровый венок.

Горький стал героем дня. Стоило ему появиться на улице, как его окружала толпа. А он, стесняясь своей популярности, смущенно и шутливо отбивался:

— Братцы! Знаете, того... Неудобно как-то, право... Честное слово! Чего же на меня глазеть?... Я не певица, не балерина... Вот история-то какая! Ну, вот, ей-богу, честное слово!

Пьеса «На дне» раскупалась тысячами экземпляров. Только в Нижнем Новгороде продавали за день больше ста книг. А в Москве мальчишки-книгоноши распродавали за день двести пятьдесят — триста экземпляров.

Шла конкуренция между издателями и торговцами. Берлинский Малый театр прислал Художественному театру телеграмму: «Шлем сердечные поздравления с успехом новой драмы Горького. Скоро последуем вашему примеру».

В России один театр за другим, не ожидая официального разрешения, начали репетиции пьесы «На дне». Известный артист Петербургского Александрийского театра Далматов решил сыграть роль Барона или Сатина в день своего бенефиса.

На бенефис Далматова записывались за два месяца. Петербург с нетерпением ожидал постановки. Уже писались декорации, разучивались роли. За это время в берлинском театре с огромным успехом состоялась премьера пьесы «На дне», переведенной на немецкий язык.

Критика единодушно утверждала, что это первоклассное художественное произведение, затмившее успех Гауптмана и Метерлинка. Берлинские газеты сравнивают Горького с Шиллером. О пьесе пишутся философские трактаты.

Пьесу переводят на польский и чешский языки. Парижане аплодируют ученикам русской школы, поставившим «На дне» в парижском театре. Овациями встречают пьесу в Австрии, Швейцарии, Финляндии.

А в Петербурге... газеты сообщают, что бенефис Далматова не состоится вследствие запрещения пьесы «На дне».

Да, да, несмотря на всемирный успех, цензурный комитет категорически запрещает играть пьесу в театрах России и даже в Петербургском Александрийском театре!

Снова начинаются хлопоты. Шаляпин читает пьесу директору императорских театров. На чтении присутствуют управляющий конторой театров, режиссеры, администраторы, артисты. Все в восторге. Но... разрешения на постановку пьесы получить не удастся. И тогда, как стихийный протест, началось в Петербурге чтение в лицах на частных квартирах и в клубах.

Но вот наконец Петербург смог увидеть пьесу на подмостках театра. Художественный театр приехал на гастроли в столицу. Все билеты были распроданы заранее. Мест не хватало. Переполнен зрительный зал, публика толпится в фойе, в вестибюле. Алексею Максимовичу шлют в Нижний Новгород приветственные телеграммы.

Продолжается поток хвалебных рецензий. И лишь Главное управление по делам печати докладывает:

«Все действующие лица этой пьесы типы отрицательные, которые в лучшем случае могут вызвать сожаление, а вообще производят отталкивающее впечатление. Ни одного героя и удалца там нет, если не считать мелкого воришку Ваську Пепла... Остальные действующие лица — бывшие люди, полуголодные, нищие, которые влачат изо дня в день свое жалкое существование, ничем не проявляя какой-либо преступности... К сему

считаю долгом присовокупить, что пьеса «На дне» разрешается для каждого театра особо, так что спектакли, исполнение коих вызвало бы какое-либо недоразумение, могут быть немедленно прекращены, и если г. градоначальник находит дальнейшее представление этой пьесы в С.-Петербурге нежелательным, то она может быть снята с петербургского репертуара по его усмотрению».

Но, к счастью, вечны истинные произведения искусства, а не градоначальники. Пьеса Алексея Максимовича Горького «На дне» и по сей день не сходит со сцены.

«Так сказал Горький»

«Здесь будет Горький», «Так сказал Горький», «Горький поможет».

Эти слова можно было без конца слышать в Нижнем Новгороде на любой студенческой сходке, студенческом собрании, просто в разговорах молодежи между собой. Студентов в Нижнем Новгороде становилось все больше.

В 1899 году сюда один за другим приезжали студенты, исключенные из университетов за беспорядки, высланные на родительские хлеба под полицейский надзор.

Алексей Максимович помогал им устроиться на работу, оказывал материальную помощь. И вскоре имя Горького стало самым популярным и самым дорогим среди студенческой молодежи.

Большое участие принимал Горький в работе Общества поощрения высшего образования. Организовывал лекции и концерты, доход с которых отдавали революционно настроенному студенчеству. По просьбе Горького в Нижний Новгород приезжал великий русский ученый-физиолог И. М. Сеченов. Он прочитал лекцию, которая дала свыше семисот рублей чистого дохода.

Приглашал Алексей Максимович в Нижний и знаменитого судебного деятеля и писателя А. Ф. Кони.

В те годы студенты Москвы и Питера, высланные в Нижний Новгород, часто устраивали вечера-концерты. Обычно от вечера получали около тысячи рублей дохода, часть денег передавали нуждающимся студентам, а часть шла на революционные дела.

Ссылные студенты Дерптского университета решили по примеру москвичей и питерцев устроить такой вечер. Но как организовать его? Какими силами? Ведь «дерптцев» в Нижнем Новгороде немного. К кому обратиться за помощью? К Алексею Максимовичу! Он не откажет.

Горький и вправду не отказал, согласился выступить. Зал был переполнен, билеты распроданы заранее. Долго не отпускали Алексея Максимовича собравшиеся.

12 января — Татьянин день, традиционный студенческий праздник. Этот день праздновали все студенты страны. Веселилась не только молодежь, но и «старые студенты», люди, давным-давно покинувшие университетские стены и разъехавшиеся по разным городам: профессора, врачи, учителя, адвокаты, инженеры. Вспоминали молодость, пировали вместе с молодыми. Банкеты, танцы, катание на тройках... Повсюду звучали студенческие песни.

И в этот день Алексей Максимович всегда со студентами. Но он не просто веселился.

Пользуясь безудержным праздником, он мог провести летучее конспиративное совещание, уединившись с группой молодежи в какую-нибудь комнату или бильярдную...

На литературном вечере в Торгово-промышленном клубе, посвященном 100-летию юбилею А. С. Пушкина, Алексей Максимович прочитал стихотворение Пушкина «Деревня»:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.

На весь зал гремел его окаящий голос. И бессмертные стихи Пушкина, горячо перекликаясь с современностью, обретали в его чтении новый и вечный смысл...

А вскоре молодежь бурно аплодировала Алексею Максимовичу на студенческом вечере в Коммерческом клубе, где он читал «Песню о Соколе»...

И снова и снова повторяет молодежь: «Это сказал Горький», «Здесь будет Горький», «Горький поможет».

Защитник

В апреле 1899 года все студенчество было потрясено страшной вестью. Талантливый юноша, студент последнего курса Московского университета Герман Ливен, арестованный за революционную пропаганду и заключенный в одиночную камеру Бутырской тюрьмы, облил матрац керосином, привязал себя к кровати и сжег. Одни говорили, что он не выдержал издевательств тюремщиков, другие, что помешался в рассудке.

Герман Ливен был родом из Нижнего Новгорода. Отец его преподавал немецкий язык в Нижегородском кадетском корпусе, и хоронить Германа Ливена привезли в Нижний. Нижегородские студенты превратили похороны в политическую демонстрацию. Народу собралось до восьми тысяч. Весь путь от дома до кладбища студенты несли гроб на руках.

Алексея Максимовича тогда не было в городе. Вернувшись и узнав о событиях, он пишет А. П. Чехову:

«Здесь публика возмущена смертью студента Ливена, который сжег себя в тюрьме. Я знал его, знаю его мать, старушку. Хоронили здесь этого Ливена с помпой и демонстративно, огромная толпа шла за гробом и пела всю дорогу».

В ответ на студенческие протесты, забастовки и демонстрации правительство в июле 1899 года издало «Временные правила», согласно которым студенты «за учиненные беспорядки, за уклонение от учебных занятий или за подстрекательство к этому, а также за дерзкое поведение и грубое неповиновение начальству караются исключением из университета и отдачей в солдаты».

Но никакие репрессии не могли усмирить взбунтовавшуюся молодежь. В 1900 году в Одессе был арестован съезд представителей университетов. Центром, подготовившим этот съезд, был Киевский университет. В Киеве начинаются волнения. В январе 1901 года без суда и следствия сто восемьдесят три студента Киевского университета были отданы в солдаты.

Во втором номере газеты «Искра» Владимир Ильич Ленин напечатал статью, которая так и называлась: «Отдача в солдаты 183 студентов».

«Студенты требуют — вы думаете, может быть, конституции? — спрашивает В. И. Ленин,— нет, они требуют, чтобы не применяли наказание карцером и приняли обратно уволенных».

И дальше: «Но ответить правительству обязано не одно студенчество. Правительство само позаботилось сделать из этого происшествия нечто гораздо большее, чем чисто студенческую историю... И тот рабочий недостоин названия социалиста, который может равнодушно смотреть на то, как правительство посылает войско против учащейся молодежи. Студент шел на помощь рабочему,— рабочий должен прийти на помощь студенту».

А в феврале 1901 года к отдаче в солдаты приговариваются двадцать семь петербургских студентов. Всколыхнулась вся страна. Студенческое движение выплеснулось из стен университетов на улицы.

Алексей Максимович Горький не мог остаться сторонним наблюдателем этих событий. В первых числах февраля он пишет писателю Н. Д. Телешову:

«Милый и хороший человек! Надо заступиться за киевских студентов! Надо сочинить петицию об отмене временных правил. Умоляю — хлопочите! Некоторые города — уже начали!»

...В марте 1901 года Горький приезжает в Петербург. Он становится свидетелем знаменитой студенческой демонстрации, которая произошла 4 марта на площади возле Казанского собора.

Правительство и полиция учинили избиение демонстрантов.

В тот же день большая группа петербургских литераторов написала резкий протест на имя министра внутренних дел. А через несколько дней весь Петербург читал

отпечатанное на гектографе и переписанное от руки «Письмо русских писателей в редакции газет и журналов», за сорока тремя подписями.

«Мы, писатели, давно уже лишены возможности своевременным разъяснением нужд своей родины предотвращать подобные события. Мы лишены возможности словом продуманного убеждения осветить выход из настоящего трудного положения; мы лишены возможности выполнить весь лежащий на нас долг перед родиной. Мы делаем попытку хотя бы огласить факты».

Среди подписавших — Максим Горький, Мамин-Сибиряк, Гарин-Михайловский...

Правительство выпустило официальное сообщение о демонстрации, в котором вся вина за избиение студентов взваливалась на них самих. Но тут же в ответ пошло по городам России «Опровержение правительственного сообщения». Утверждали, что написал его Максим Горький.

В «Опровержении» говорилось о том, что правительственное сообщение лживо, что оно искажает действительность, клеветает на студентов с целью возбудить против них недовольство в обществе. Утверждение, что студенты, стоя в соборе, якобы не снимали шапок, курили табак и оскорбляли священнослужителя — клевета.

Еще с утра полиция и казаки были спрятаны во дворах, им давали водку и внушали, что студенты хотят убить императора, за что нужно их бить без пощады. Листовки, в которых студентов приглашали на площадь, распространялись охранкой.

Это была провокация с целью устроить студентам ловушку. Начали драку не студенты, а казаки, они били собравшихся студентов кулаками и нагайками налево и направо.

«Опровержение» призывало общество решительно протестовать против полицейского террора...

И снова во многие города России, и в том числе и в Нижний Новгород, потянулись сосланные студенты. Число ссыльных увеличивалось с каждым днем.

Алексей Максимович писал из Нижнего Новгорода Антону Павловичу Чехову:

«Здесь до 70 человек иногородних студентов, полуголодных, битых, возбужденных и возбуждающих публику. Очень прошу Вас, дорогой Антон Павлович, пособирайте денжат для голодающих студюзов, ибо здесь источники иссякают. Теперь в Ялте съезд, собрать сотню-другую, я думаю, можно. В Москве и Питере собрано много, туда посылать бесполезно».

Студенты в Нижнем стали героями дня. Толпами расхаживали они по улицам, распевая студенческие революционные песни, устраивали вечера, где вспыхивали острые споры, произносились горячие речи.

И вся эта обиженная и возбужденная молодежь группировалась вокруг Горького. Алексей Максимович был их другом, наставником, защитником.

Создается организация помощи высланным студентам, и Алексей Максимович тут же вносит в нее 5000 рублей — гонорар за отдельное издание повести «Фома Гордеев».

Участвует он и в социал-демократическом студенческом кружке, который возглавляли высланные студенты.

Нередко нелегальные собрания проходили на квартире у Алексея Максимовича. Члены кружка писали прокламации и печатали их на гектографе и мимеографе, который приобрели в Петербурге Горький и Скиталец.

Один студент писал в апреле 1901 года в Москву: «У нас своя компания человек в 15... Бывают нередко Горький и Скиталец. Теперь я убедился, что Горький замечательный человек... Из Горького вырабатывается теперь общественный деятель новой молодой России. Он представитель демократии... свободного русского народа, который начинает просыпаться от своей вековой спячки, и недалеко то время, когда разогнет он свою спину и стряхнет с себя иго присосавшихся к нему эксплуататоров... Читал нам Горький свои новейшие произведения, не пропущенные цензурой,— «О писателе, который зазнался» и «Весна»... У нас здесь будет издаваться сборник, куда войдет все, касающееся беспорядков этого года».

Сборник этот, отпечатанный на гектографе, вышел в свет — большой переплетенный журнал, составленный в основном из анонимных студенческих произведений. На первой странице «Открытое письмо к обществу»:

«Мы лишены самого естественного права совещаться о чем-либо, помогать нашим товарищам, даже обращаться куда следует с протестом против злоупотреблений

администрации. За каждое сообще выраженное мнение следует кара, исключение из учебного заведения, высылка без суда и следствия, заключение по крепостям». В первом разделе напечатана запрещенная царской цензурой аллегория Максима Горького «Весенние мелодии».

Помещено в сборнике и знаменитое письмо литераторов по поводу событий 4 марта, рассказы очевидцев этого страшного дня. В сборнике много стихов. Например, такие:

В каком году — рассчитывай.
В какой тюрьме — угадывай,
За стенами, за крепкими,
Железными решетками
Студентов сотен пять.
Зачем свело их — ведомо,
Зачем забрали — знаемо
Поют, шумят ребятушки.
Кашицею питаются.
Клопы их кровь сосут.
Чего ж ребятам надобно?
Отмены «правил временных».
Возврата всех товарищей.
Устава надо старого,
Вольготного, гуманного,
Чтобы вольней дышать...

Или такие:

Печальный ректор, враг свободы,
Сидел подавленный тоской,
В воспоминаньях прежни годы
Пред ним теснились толпой...

Нелегальные собрания, прокламации, сборники, журналы... Но молодежи этого мало. Все острее и требовательнее говорят студенты об организации политической демонстрации. Помимо студентов, входивших в кружки, в Нижнем Новгороде живет еще много молодежи, высланной на родительские хлеба.

Многие из них исключены из университетов временно, другие навсегда, многие испытали на себе полицейскую дубинку. Все они начинают принимать живейшее участие в подготовке демонстрации. Молодежь готова на все — лишь бы добиться справедливости! Демонстрацию наметили провести 8 апреля — в этот день исполнялось два года со дня похорон Германа Ливена. Было решено возложить венки на могилу. Но в этот день из Крестовоздвиженского монастыря обычно переносили в Кремль икону Оранской божьей матери. Народу всегда собиралось видимо-невидимо. В подобных условиях демонстрация грозила окончиться грандиозным побоищем.

Взволнованы были все — и студенческая молодежь, и интеллигенция. Родители тревожились за судьбы своих детей. О готовящейся демонстрации стало известно губернатору. Было доложено, что в демонстрации собираются принять участие золоторотцы с Миллионки. В донесении писали, что три золоторотца даже являлись к Алексею Максимовичу за получением инструкций.

Позднее Алексей Максимович рассказывал, что действительно босяки приходили к нему и говорили о том, что готовятся бросить в икону бутылку, начиненную порохом. Город жил напряженно и взволнованно.

4 апреля в полуподвальном помещении Коммерческого клуба, в буфете, состоялся студенческий вечер. Молодежь открыто говорила о готовящейся демонстрации, о том, что студенты приглашают участвовать в ней сормовских рабочих, готовят красные флаги. Распевали революционные песни: «Нагаечку», «Дубинушку», «Марсельезу»...

Волновался Алексей Максимович. Он и страшился за судьбу демонстрантов, и сам был увлечен этой дерзкой идеей. Горький чувствовал: слишком много сил накопилось у

молодежи, необходимо дать им разрядку и одновременно защитить и предостеречь их. Пользуясь своим влиянием на молодежь, Алексей Максимович уговорил студентов накануне демонстрации, то есть 7 апреля, встретиться с «отцами» города и только после этого принять окончательное решение.

«Отцы», встревоженные назревающими событиями, охотно откликнулись на предложение Горького. Они добились у губернатора разрешения провести закрытое собрание во Всесловном клубе при полном отсутствии полиции и шпиков. Правда, в день собрания несколько переодетых шпиков все же попытались проникнуть в зал, выдавая себя за «отцов», но бдительные студенты с позором изгнали их. Председательствовал на собрании студент В. А. Десницкий. В своих воспоминаниях он рассказывает, что зал клуба представлял собой в этот день зрелище необыкновенное. Юные оживленные лица молодежи и рядом — хмурые, озабоченные бородатые физиономии «отцов». Студенческие тужурки и косоворотки, и тут же чопорные сюртуки, визитки, вицмундиры. Молодые люди, глотнувшие свободы на своих студенческих сходках, чувствовали себя прекрасно. Сумрачные «папаши», привыкшие к сонной скуке земских, городских и дворянских собраний, с недоумением переглядывались, не зная, как держать себя.

Всюду мелькали прокламации, листки, брошюры различных цветов, по рукам шли подписные листы на «Красный крест» и иную куда более «страшную» нелегальщину. Поначалу «отцы» испуганно шарахались, но запретный плод всегда соблазнителен. И вот в переполненном зале взрослые, умудренные жизнью люди, уткнувшись в запретные листы, внимательно и сочувственно читают их.

Диковинное зрелище! Ведь на заседании присутствовали такие важные лица, как председатель губернской земской управы, председатель казенной палаты, городской голова, адвокаты, врачи, инженеры, представители местной печати.

Присутствовал на встрече и Алексей Максимович Горький. «Отцы» города произносили благоразумные речи. Молодежь отвечала им горячими призывами и требованиями. Алексей Максимович выступил последним. Речь его была короткой. Он сказал, что демонстрацию устраивать неразумно, — ведь она уже состоялась здесь, в этом зале. На собрании стало известно, что отец и мать Германа Ливена обратились к студентам с просьбой не выходить на демонстрацию, так как демонстрация эта может повредить Алексею Максимовичу Горькому.

Студенты и сами опасались за Горького, понимали, что стоят перед выбором: демонстрация или Горький! Проголосовали. Большинство голосов постановили демонстрации не устраивать, а направить правительству петицию в защиту студентов. После встречи «отцов и детей» началась деятельная переписка между департаментом полиции и нижегородским жандармским управлением. Департамент полиции сообщал совершенно секретно, что, по имеющимся у него сведениям, в Нижнем Новгороде, на Откосе, готовится студенческое собрание. В связи с этим предлагалось жандармскому управлению установить тщательное наблюдение «за деятельностью А. М. Пешкова и его связями с учащейся молодежью...».

Арест

В Нижний летела шифрованная депеша.

«Известный Вам Алексей Пешков, он же Горький, и нижегородский житель, сотрудник журнала «Жизнь», приятель Горького, некий Петров (Скиталец) приобрели здесь мимеограф для печатания воззваний к сормовским рабочим.

Мимеограф отправлен 10 марта через транспортную контору в Нижний по адресу: Печерка, аптека Кольберг, Вере Николаевне.

Благоволите установить за получением мимеографа тщательное секретное наблюдение и, отнюдь его не арестовывая, выяснять осторожно, куда будет отвезен, и поставить на место наблюдение».

А через день, почтой, в Нижнем было получено разъяснение депеши: «...Выждать для производства обысков и арестов удобного момента. Желательнее всего было бы взять мимеограф вместе с лицами в самый момент воспроизведения ими предположенных воззваний к сормовским рабочим... и произвести ликвидацию прикосновенной к этому

делу группы тотчас же по появлении первого воззвания...»

Действительно, находясь в марте 1901 года в Петербурге, Алексей Максимович Горький по поручению Нижегородского комитета РСДРП приобрел мимеограф для печатания прокламаций.

Вместе с поэтом Скитальцем они отправили мимеограф почтой на квартиру революционерки В. Н. Кольберг.

Провокатор доложил департаменту полиции о покупке мимеографа. Нижегородские жандармы должной расторопности не проявили, получение мимеографа прозевали и арестовать группу в момент печатания воззваний не успели. Теперь, перепуганные, они развили бурную деятельность.

Уже через несколько дней посыпались в Петербург доносы, что в конце апреля или в начале мая готовятся в Сормове беспорядки антиправительственного характера, что возбуждает к этому рабочих кружок молодежи и интеллигенции и что именно для этой цели Горький и Скиталец купили мимеограф.

Медлить было нельзя. 15 апреля жандармское управление получает лаконичную телеграмму директора департамента:

«При ликвидации обыщите и арестуйте Алексея Пешкова и Степана Гавриловича Петрова обязательно».

16 апреля начальник нижегородского жандармского управления пишет постановление: приступить к производству дознания, и 17 апреля второе постановление: «...Алексей Максимович Пешков (Максим Горький), занимаясь совместно с кружком лиц противоправительственной пропагандой среди сормовских рабочих с целью возбудить их к революционному движению, заготовляют в этих видах преступного содержания воззвания, и что, таким образом, названный Пешков в достаточной мере изобличается в преступлении, предусмотренном 250 ст. упомянутого Уложения, и подвергнуть его обыску и личному задержанию...»

В ночь с 16 на 17 апреля 1901 года у Алексея Максимовича в квартире был произведен обыск и сам он арестован. В ту же ночь арестовали Петрова-Скитальца и весь студенческий социал-демократический кружок.

18 апреля начальник жандармского управления докладывает директору департамента: «Пешков, Петров арестованы».

Ленинская «Искра» поместила заметку «Полицейский набег на литературу». Сообщая об аресте Горького и других литераторов, газета писала: «Кто сеет ветер, пожнет непременно бурю».

При обыске у Алексея Максимовича были обнаружены «компрометирующие» бумаги: записка, где коротко излагались обстоятельства смерти Германа Ливена и подробности его содержания в тюрьме; стихотворение «Сейте студентов...», начинающееся словами:

Сейте студентов по стогам земли,

Чтоб поведать все горе сердечное

Всюду бедняги могли;

копия «Опровержения правительственного сообщения» о событиях в Петербурге 4 марта на площади у Казанского собора;

студенческая песня под заголовком «На мотив Марсельезы»:

Ты нас вызвал к неравному бою,

Бессердечный монарх и палач...

Над поверженной в горе страной

Материнский разносится плач.

Был нам дорог храм юной науки,

Но свобода дороже была.

Против рабства мы подняли руки.

Против ига насилия и зла.

Пусть нас ждут пересыльные замки.

Кандалы, ненавистный конвой.

Роковая казенная лямка.

Крест на шапке и штык за спиной.

Ваш позор лицезреют народы...

Станьте ж, смелые, честные, в ряд!

Со штыками под знамя свободы
Выйдет каждый студент, как солдат.

Итак, Горький был арестован по делу о приобретении мимеографа для печатания прокламаций. Но одновременно он обвинялся еще в двух «преступлениях»: участии в нелегальном студенческом кружке и в сочинительстве противоправительственных документов.

Алексей Максимович был заключен в острог, на дно круглого колодца, в камеру-одиночку, расположенную в одной из четырех угловых башен.

В камере, у двери с левой стороны, тяжелым треугольником выступала печь. К ней плотно примыкали покатые грязные нары, они тянулись по всей стене до маленького окна, заделанного толстой железной решеткой.

Каменный, в трещинах, свод изгибался тяжелой аркой, опускаясь почти до уровня нар. Высоко под потолком горела тусклая пыльная электрическая лампочка, освещающая стены, покрытые пятнами от раздавленных клопов, испещренные надписями.

На стене возле печи были нацарапаны гвоздем столбцы цифр,— кто-то слагал, множил, делил, пытаясь этим бессмысленным занятием заполнить гнетущую пустоту бесконечных дней.

Но и в этих тяжелых условиях Алексей Максимович не терял бодрости. На следующий день после ареста он пишет Екатерине Павловне и просит прислать ему книги, бумагу, ручку, чернила и перья. Письмо оканчивается шуточным стихотворением:

Как медведь в железной клетке,
Дрыхнет в башне № 3-й
Государственный преступник
Алексей Максимов Пешков.
Спит и — видит: собралися
Триста семь клопов на сходку
И усердно рассуждают,
Как бы Пешкова сожрать.

Когда Алексея Максимовича выводили на прогулку, он всегда здоровался за руку с часовым и с надзирателем. А потом стража и «преступник» мирно усаживались на короткую травку, которой порос тюремный двор, и начиналась оживленная беседа. Один за другим к ним подсаживались уголовники. Алексей Максимович был неиссякаемым рассказчиком и через несколько дней стал любимцем обитателей тюрьмы.

Во время прогулок арестанты могли разговаривать с теми, кто стоял на окнах. Окна камер выходили на тюремный двор. Завязывалась общая беседа, а порой возникали настоящие дискуссии.

Скиталец, обладавший прекрасным голосом, взбирался на высокий подоконник и распевал на весь двор романсы и арии из опер. Послушать его собирались и арестанты, и тюремная администрация, а случалось, что аплодисменты звучали и за стенами тюрьмы, на улице.

Алексей Максимович шутил: Скитальцу так нравится стоять на подоконнике, держась за решетку, что когда он выйдет из тюрьмы, то обязательно закажет такую же решетку на окна своей квартиры.

В одном из писем к Екатерине Павловне он писал:

«А знаешь — довольно-таки мудрая штука — писать письма из тюрьмы! И не потому, что не о чем писать, а потому, что никак не сообразишь, о чем можно писать?.. Хочешь, нечто вроде двустихия? Получи:

Сквозь железную решетку с неба грустно смотрят звезды..

Ах, в России даже звезды светят людям сквозь решетки!»

По приказу департамента на Алексея Максимовича было заведено многотомное дело.

Допросы, доносы, показания... Однако доказать виновность Горького нижегородские жандармы так и не смогли. Мимеограф не найден. Авторство противоправительственных документов не доказано, причастность к революционному кружку не установлена.

Алексей Максимович писал В. Г. Короленко:

«При обыске у меня ничего не найдено. На допросах — несмотря на мои неоднократные, настоятельные требования — вещественных доказательств вины не было предъявлено. И несмотря на то, что в постановлении об аресте прямо сказано «обвиняюсь»,—

прокурор Утин в ответ на требование предъявить мне «вещественные доказательства» ответил: «Мы не обвиняем вас, а подозреваем».

Свободу Горькому!

Можно посадить в тюрьму человека, но куда труднее запереть под стражу вольное слово. Пока Алексей Максимович томился в тюремной башне, в одиночке, вышел в свет апрельский номер журнала «Жизнь», а в нем «Песня о Буревестнике».

«Черной молнии подобный» полетел по России «Буревестник». Владимир Ильич Ленин использовал горьковский образ в своей статье «Перед бурей». Голос писателя с новой силой зазвучал в самых отдаленных уголках Российской империи.

В Петербурге началась паника. Выход следующих номеров журнала «Жизнь» был приостановлен. Жандармский генерал, докладывая об умонастроениях в столице, писал, что «всякие меры к успокоению волнующегося общества и учащейся молодежи едва ли сколько-нибудь достигнут цели, если при этом не последует распоряжение о совершенном прекращении журнала «Жизнь».

Была составлена специальная докладная записка о сотрудниках журнала. В ней сообщалось, что Алексей Максимович Пешков из гонорара за издание своих рассказов пожертвовал две тысячи рублей в агитационный студенческий фонд, а две тысячи рублей в пользу группы «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

Вскоре почти все сотрудники журнала были арестованы, редактор посажен в самую строгую петербургскую тюрьму «Кресты», и за подписью четырех министров было вынесено постановление о закрытии журнала «Жизнь». В редакции был произведен обыск, во время которого уничтожили ценнейший архив журнала,— не осталось ни листочка...

Справиться с Горьким было поистине невозможно! Да и как справишься, когда на защиту его поднялось все студенчество. Через несколько дней после ареста Алексея Максимовича на площади возле тюрьмы собралась большая группа молодежи. Держа в руках длинный шест, вышел вперед черноволосый юноша. Размахивая шестом, он стучал в ворота, кричал, что они пришли заявить протест по поводу ареста Горького и группы студентов, что если арестованных не выпустят, так пусть и их сажают, потому что они разделяют взгляды своих товарищей.

Впрочем, волновалась не только молодежь. «Горький в тюрьме!», «Жизнь Горького в опасности!» В Нижний Новгород и Петербург в адрес царского правительства шли телеграммы, письма, запросы, прошения со всей России.

Хлопоты за освобождение Алексея Максимовича начинает Лев Николаевич Толстой. Он направляет письма министру внутренних дел князю Святополку-Мирскому и принцу Ольденбургскому.

«Я лично знаю и люблю Горького,— пишет Лев Николаевич,— не только как даровитого, ценимого и в Европе писателя, но и как умного, доброго и симпатичного человека...

Горький находится теперь в ужасном положении: он вырван из семьи, от находящейся в последней степени беременности жены, и, больной туберкулезом легких, посажен без суда в нижегородский, ужасный по своим антигигиеническим условиям, острог».

В начале мая у Алексея Максимовича обостряется туберкулезный процесс. Родные, друзья, близкие делают все, чтобы освободить его из тюрьмы. Нижегородский врач В. Н. Золотницкий, в течение семи лет наблюдавший и лечивший Алексея Максимовича, написал медицинское заключение, в котором говорилось, что тюремное заключение может самым губительным образом отразиться на здоровье Горького, так как за 1897—1899 годы у Алексея Максимовича были обнаружены палочки Коха.

С документа сняли несколько нотариальных копий и отправили в Петербург и в Москву друзьям Алексея Максимовича и различным влиятельным лицам, которые могли бы помочь его освобождению.

Под влиянием общественного мнения нижегородские власти вынуждены были созвать консилиум для освидетельствования состояния здоровья Горького. Комиссия из семи врачей, в которую входили врачи В. Н. Золотницкий, Н. И. Долгополов, Н. А. Грацианов, дала заключение, что дальнейшее пребывание в тюрьме угрожает не только здоровью,

но и самой жизни Алексея Максимовича.

В результате хлопот 17 мая 1901 года, то есть ровно через месяц после ареста, Алексей Максимович был выпущен из тюрьмы и отвезен на квартиру под домашний арест.

Весть о его освобождении мгновенно разнеслась по городу. К дому Горького потянулись толпы людей, считавших своим долгом выразить любимому писателю сочувствие и уважение. Кто только не побывал в горьковском доме за этот день: врачи, адвокаты, учителя. Приезжала даже жена вице-губернатора баронесса Фридерикс.

Дверь не закрывалась, и городской, сидевший в передней на сундуке, никак не мог взять в толк, как ему положено себя вести,— ведь среди посетителей было немало знатных, известных всему городу людей. Он то и дело вскакивал с сундука, вытягивая руки по швам, почтительно приветствовал приходящих.

«Ну и арестант»,— недоуменно, с невольным уважением думал городской.

22 мая Алексей Максимович пишет Л. Н. Толстому: «Спасибо Вам, Лев Николаевич, за хлопоты обо мне. Из тюрьмы меня выпустили под домашний арест... Следствие еще продолжается... Быть «под домашним арестом» — ужасно смешно! В кухне — полицейский сидит, на крыльце — другой, на улице — еще. Гулять можно только в сопровождении полицейского и лишь около дома, а на людные улицы — не пускают. Полицейским тоже смешно караулить человека, который не только не намерен бежать из города, но и по своей-то воле уехать из него — не хочет».

Прошло несколько дней, и в дом Пешковых хлынул новый поток гостей — из Москвы, Петербурга, Крыма. Приехал Антон Павлович Чехов с женой Ольгой Леонардовной Книппер, писатель Н. Г. Гарин-Михайловский, художник М. В. Нестеров.

Через две недели был снят и домашний арест. За Алексеем Максимовичем установили гласный полицейский надзор.

Проводы

Следствие по делу все тянулось и тянулось, а здоровье Алексея Максимовича не улучшалось. В городе становилось жарко, пыльно, душно. По ночам Алексей Максимович плохо спал, кашлял, и утром Екатерина Павловна с тревогой видела, что рубашка на нем влажная от пота.

Переехали на дачу к друзьям на берег Волги, в местность Моховые горы, напротив Нижнего Новгорода. Летом Алексей Максимович чувствовал себя лучше, много гулял по окрестностям, с наслаждением вдыхая травянистый волжский воздух. Но вот все длиннее стали вечера, короче дни, прохладнее ночи, зарядили нудные осенние дожди, и опять — кашель, слабость, бессонница...

Друзья, встревоженные его состоянием, снова начинают хлопоты. На этот раз они добивались для Горького разрешения поехать в Крым. И добились.

Министерство внутренних дел дало разрешение «ввиду тяжелой болезни Горького» в октябре уехать в Крым для лечения. Однако не преминуло напомнить, что Горький по-прежнему остается под гласным надзором полиции, подлежит высылке из Нижнего и весной, по возвращении из Крыма, обязан переехать на жительство в Арзамас, уездный город Нижегородской губернии. Поездка в Крым — лишь отсрочка административной ссылки.

Наконец-то получены все необходимые документы, окончены сборы, можно в путь! Нижегородская интеллигенция, узнав об отъезде Алексея Максимовича в Крым, решила устроить ему торжественные проводы.

По городу пустили подписные листы. На собранные деньги купили подарок — репродукции с картин русских художников. Упаковали их в красивый деревянный ящик, прикрепили на крышку серебряную дощечку с надписью: «Максиму Горькому от нижегородцев».

На банкете готовились преподнести Горькому адрес, даже провели нечто вроде конкурса на лучший текст адреса.

Алексей Максимович узнал о приготовлениях и встревожился. Вот что он писал по этому поводу другу своему Пятницкому: «Провожать меня хотят довольно демонстративно: устраивают обед — что не весьма мне приятно... Это хорошо, потому что оппозиционно, но это может быть и нехорошо, ибо я во время обеда могу сказать такую штуку, что мои

чувствители, пожалуй, подавятся от неожиданности. Попытаюсь однако воздержаться». 6 ноября, накануне отъезда Алексея Максимовича из Нижнего, в одном из самых больших ресторанов города состоялся банкет. Легальный, разрешенный городскими властями, ужин по подписке. Собралась вся интеллигенция города.

Зачитали адрес. Главная мысль адреса — «безумству храбрых поем мы славу». Долго не смолкали аплодисменты. Приветствия, приветствия... Особенно запомнилась Алексею Максимовичу горячая и резкая речь одного юноши. Фамилии своей юноша не назвал, просто отрекомендовался представителем революционной молодежи.

Наконец слово взял Алексей Максимович Горький.

Вынув из кармана листок, он откашлялся и начал читать. Памфлет назывался «О писателе, который зазнался». Это была именно та «штука», от которой Алексей Максимович хотел воздержаться.

«— Ну, много ли среди вас настоящих-то людей? — гремел на весь ресторанный зал голос Горького. — Может быть, человек пять на тысячу найдется таких, которые страстно верят, что человек есть творец и владыка жизни, а право его свободно думать, говорить, ходить — святое право; может быть, только пять из тысячи способны бороться за это право и без страха погибнуть в борьбе за него...

Я вот смотрю в ваши тусклые и робкие глаза и со страхом вижу, как мало среди вас смелых, как мало честных! Бедна страна моя людьми смелыми, а уж вновь наступает время, когда ей нужны герои!.. Вы стоики, потому что рабы. Вас бьют — вы молчите, вас оскорбляют — вы улыбаетесь. Вас возмущают только жены, когда невкусен обед, а страдаете вы от жадности ко благам жизни, от зависти друг к другу и от несварения желудка...

Наполняя жизнь старческим брюзжанием, скверным скрипом разочарования, своими жалобами на нее, вы отравляете души ваших юных детей... Идут они и ищут жизнь теплую, жизнь тихую, жизнь уютную, находят ее и существуют потихоньку, по примеру отцов. Они — как свежая известь, которую замазали трещину в старом здании. Это тяжелое, грязное здание все пропитано кровью людей, которых оно раздавило. Оно сотрясается от дряхлости, охвачено предчувствием близкого разрушения и в страхе ждет толчка, чтобы с шумом развалиться».

Это было беспощадное обличение буржуазного общества, окружающей жизни, и хотя, казалось бы, на банкете присутствовала интеллигенция, настроенная либерально, однако люди, вернее, большинство из них, с раздражением слушали памфлет Горького. Многие узнали в нем самих себя. В зале послышался ропот, застучали стулья, присутствующие, демонстративно кашляя, стали расходиться. Лишь молодежь аплодировала неистово.

Алексей Максимович был смущен и взволнован. Вот ведь, давал себе слово быть осторожным, удержаться от «штук», и не смог, да, верно, и никогда не сможет!

На следующий день Алексей Максимович с семьей уезжал из Нижнего Новгорода.

С утра шел снег, мела метель, лед на Оке только что стал. Вокзал находился на противоположном берегу реки, добираться туда в такую погоду было трудно, но ничто не могло остановить молодежь. Задолго до отхода поезда на вокзале стали собираться молодые люди, потом народу становилось все больше и больше. Никто в городе не знал о том, что здесь готовится демонстрация, — ни жандармы, ни полиция.

Не знал об этом и Алексей Максимович. Вместе с женой и сыном прошел он в зал 1 класса, ожидая поезда.

И вдруг зал заполнила молодежь. Высокий юноша, звонко и четко выговаривая слова, прочитал приветственный адрес. Раздалась песня. Пели «Дубинушку», потом «Марсельезу», «Назови мне такую обитель...».

Прозвенел первый звонок. Горький вышел на перрон, и его снова плотным кольцом окружила молодежь. Прибежали растерянные полицейские. Не имея никаких инструкций и указаний, они не знали, что делать, и лишь «честью просили» демонстрантов разойтись. Но пение продолжалось. Вдруг в нескольких местах над толпой взметнулись в воздух пачки прокламаций. Мгновение — и вся платформа стала пестрой от множества разноцветных листов.

Один из полицейских, нагнувшись, схватил сразу несколько листов и, подбежав к фонарю, мотающемуся в летящем снеге, торопливо прочитал листовку. Холодный пот выступил у него на лбу. Ох, этот Горький! С ним, того гляди, места лишишься...

«Воззвание...— беззвучно шевелил побелевшими губами полицейский.— Мы собрались провожать здесь знаменитого, любимого писателя Максима Горького, выразить свое крайнее негодование по поводу того, что его высылают из родного города. Высылают его только за то, что он говорил правду и указывал на непорядки русской жизни. Мы выражаем свое негодование по поводу того, что у нас в России запрещают говорить правду, запрещают говорить, что народу живется у нас плохо... У нас преследуют писателей, которые говорят правду и обличают начальство. Мы хотим и будем бороться против таких порядков...» И подпись: «Защитники народа против его угнетателей». Публика торопливо подбирала разноцветные бумажки. По перрону прокатились громкие возгласы:

- Да здравствует Максим Горький!
- Да здравствует свобода!
- Долой насилие и деспотизм!
- Проклятие темным силам!

Алексей Максимович стоял взволнованный, растроганный и, смахивая то и дело набегавшие слезы, просил молодежь прекратить пение — ведь это грозило им новыми гонениями, репрессиями.

Но молодежь не унималась. Крики «ура!», песня «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» четко звенели в снежном ветреном воздухе.

Поезд тронулся, и провожающие словно в едином порыве бросились по перрону вслед за вагонами...

А в Москву уже летела телеграмма от жандармерии...

Молодежь быстро покинула вокзал. Маленькими группами студенты переходили Оку, а на Центральной улице вновь собрались и с пением революционных песен направились к древнему Нижегородскому кремлю.

Жандармы и полиция, не ожидавшие ничего подобного, растерялись. Демонстранты беспрепятственно прошли через центр города. Снова возгласы в защиту Горького, снова проклятия царскому произволу.

- Максим Горький сослан!
- Сослан за правду!
- Да здравствует Максим Горький!
- Долой угнетателей!
- Да здравствует свобода!

Прохожие спрашивали, что случилось. С площади раздался возглас:

- Максима Горького выслали!

С тротуара так же отчетливо и громко спросили:

- За что?!
- За свободное слово!
- За правду!

— Да погибнет весь существующий порядок! — понеслись в ответ выкрики.

В конце Покровки, против здания городской думы, шествие остановилось. В глубокой торжественной тишине зазвучал резкий, чуть срывающийся молодой голос:

— Горький сослан за то же, за что вот уже много лет гибнут в тюрьмах, на каторге, в ссылке тысячи лучших людей: за правду! У Горького было одно оружие — перо, одна сила — мысль, высказываемая в свободном слове,— и за это свободное слово он выслан! Выслан без суда, без следствия, тайно ото всех. Говорите повсюду, говорите всем и везде, что известный писатель Максим Горький сослан! Сослан хороший человек!

Да здравствует Горький!

- Да здравствует Горький!

— Да здравствует Горький! — эхом несется по площади, и студеной зимний ветер подхватывает эти слова и несет их дальше и дальше, и уже кажется, что не снежинки, а застывшие слова, свистящие, гневные, кружатся в порывах ветра.

— Падет произвол и восстанет народ, могучий, свободный и сильный! — заканчивает свою речь оратор. Он объявляет, что демонстрация окончена, и просит всех разойтись. Молодежь быстро и бесшумно рассеялась по соседним улицам, словно растворилась. И вовремя. Нагрянул отряд полиции. Но на площади уже никого не было.

Владимир Ильич Ленин в статье «Начало демонстраций» писал: «В Нижнем небольшая,

но удачно сошедшая демонстрация 7-го ноября была вызвана проводами Максима Горького. Европейски знаменитого писателя, все оружие которого состояло — как справедливо выразился оратор нижегородской демонстрации — в свободном слове, самодержавное правительство высылает без суда и следствия из его родного города». По Москве ходило воззвание с пометкой: «Быстро распространяйте», за подписью «Нижегородцы». В нем говорилось о том, что Максим Горький выслан из Нижнего, что весь город возбужден новым проявлением насилия над любимым писателем, над поэтом, воспевшим борьбу и свободу и певшим песню безумству храбрых.

«Вперед, товарищи, пред нами сила темная и большая, но уже занимается заря свободы и новой жизни!» — заканчивалось воззвание.

В Москве, к утреннему поезду, на котором должен был прибыть Максим Горький, собралось около пятисот студентов. Они пришли с большим портретом Льва Толстого. Но московский полицмейстер, предупрежденный нижегородскими жандармами, не пустил Горького в Москву.

На станции Москва-Товарная вагон, в котором ехал Алексей Максимович, был отцеплен и переведен по окружной дороге на южное направление, в Подольск, где Алексей Максимович до вечера ждал семью, на лошадях отправившуюся в Москву.

В Подольск к Горькому тут же выехали его друзья — Ф. И. Шалапин, Леонид Андреев, К. П. Пятницкий. Повидавшись с друзьями, Алексей Максимович вечером пересел в севастопольский поезд, где уже находилась его семья, и продолжал путешествие в Крым. Вслед снова мчались жандармские депеши — в Тулу, в Харьков, Курск, Симферополь. Депеши предупреждали губернаторов о проезде Максима Горького и категорически предлагали не допускать демонстраций.

В Курске вокзал был пуст и оцеплен полицией. А на привокзальной площади гудела, волновалась, шумела толпа...

В Харьков поезд пришел поздно вечером. И здесь вокзал оцеплен войсками. Ни одного человека на перроне, только жандармы. А с площади, точно гул прибоя, — ропот толпы. Сократив стоянку, поезд испуганно мчится дальше, и вдруг вспыхивает море огней, слышатся возгласы:

— Да здравствует Горький!

— Долой насилие!

Это сотни харьковских студентов с зажженными факелами вышли на мост, чтобы приветствовать любимого писателя.

И так на всем пути. Один человек едет, а хлопот не оберешься по всей России. Как управиться с ним? Легче бунт усмирить, демонстрацию разогнать или сотню-другую студентов в солдаты отдать.

Студенты не унимаются

Поезд все дальше увозил Алексея Максимовича от родного города, а демонстрации в Нижнем Новгороде не прекращались. В городском драматическом театре во время спектакля раздался с галерки сильный молодой голос:

— Господа, Максим Горький не доехал до Москвы! Он был высажен на одной из станций, и где он теперь — неизвестно!

И, как бы заключая слова оратора, белая птичья стая пронеслась над залом — оратор бросил пачку прокламаций.

Вспыхнул свет, полицейские кинулись наверх, но оратор, окруженный плотным кольцом молодежи, исчез в толпе.

А еще через несколько дней в театре давали пьесу Гауптмана «Перед восходом солнца». Пьесу перевела на русский язык жена нижегородского вице-губернатора. На спектакле присутствовала вся городская знать.

Студенты, изучив заранее расположение театра, купили билеты на разных ярусах и расселись по всему театру небольшими группами. В каждой группе находился метальщик прокламаций. И когда герои пьесы Лот и Елена заговорили о несправедливости, с галерки раздался громкий голос:

— Несправедливость?! Горького выслали без суда и следствия, вот она,

несправедливость!

Эта фраза явилась сигналом для метальщиков. В один миг со всех сторон взметнулись в воздух сотни листовок. Словно крупными снежными хлопьями, зал оказался усыпан прокламациями, в которых студенты выражали протест против высылки Горького.

Впрочем, студенческие волнения происходили не только в Нижнем Новгороде.

Несколько месяцев подряд в департамент полиции поступали донесения и депеши о различных «происшествиях», связанных с именем Горького.

Студенты Киевского университета распространяли отпечатанный на пишущей машинке памфлет Максима Горького «О писателе, который зазнался».

Казанское земледельческое училище в нелегальном гектографированном журнале «Сеятель» напечатало «Весенние мелодии». В Петербурге, в университетской столовой, студенты распространяли брошюру Максима Горького «Перед лицом Жизни».

В Белостокском театре во время постановки пьесы Горького «Мещане» раздались возгласы:

— Да здравствует поднадзорный Горький! И снова листовки, листовки...

Вызвали войска, были арестованы студенты и рабочие.

Из окна поезда на Орловской железной дороге выбросили сверток, а в нем листовки: «Да здравствует Горький!», «Да здравствует свобода!»

Живя в Крыму, Алексей Максимович внимательно следил за этими событиями. Особенно интересовало его все, что происходило в родном Нижнем Новгороде.

В январе 1902 года он пишет Пятницкому:

«Хорошо живет город Нижний Новгород! Во всю мочь скандалит! 6-го была там вечерка в Коммерческом клубе. С эстрады кто-то что-то начал говорить, и такое, знаете, светлое, что распорядители вечерки нашли нужным потушить огни,— за ненадобностью. Раньше сего случая двадцать пять человек погрузились во тьму, но скоро должны будут излезть снова на свет божий. А после этого — еще семеро прихворнули. Обыватели нижегородские жалуются — со смехом — на учащение неожиданных и не особенно приятных визитов и в ночные и в дневные часы. Повально визитируют».

По распоряжению самого губернатора с художественной выставки в нижегородском дворянском собрании убрали бюст Максима Горького: испугались — дошли до властей слухи, что готовится новая демонстрация. Беспокойный народ студенты!

Выборы в академию

Только стал понемногу затихать шум по поводу ареста и ссылки Алексея Максимовича, а тут новое событие, взбудоражившее все честное, все прогрессивное, что было в русском обществе.

25 февраля 1902 года Алексея Максимовича Горького избрали почетным членом

Российской Академии наук по разряду изящной словесности. 1 марта в газете «Правительственный вестник» напечатано официальное сообщение о его избрании.

И вдруг... По приказу министра внутренних дел сообщение это было вырезано из газеты, к нему приложили справку департамента полиции о политической неблагонадежности Максима Горького и представили все эти бумаги царю Николаю II.

Царь ознакомился с докладом и наложил резолюцию: «Более чем оригинально...»

А министру просвещения написал письмо:

«...Известие о выборе Горького в Академии наук произвело на меня, как и на всех благомыслящих русских, прямо удручающее впечатление. Чем руководствовались почтенные мудрецы при этом избрании — понять нельзя! Ни возраст Горького, ни даже коротенькие сочинения его не представляют достаточного наличия причин в пользу его избрания на такое почетное звание.

Гораздо серьезнее то обстоятельство, что он состоит под следствием. И такого человека, в теперешнее смутное время, Академия наук позволяет себе избрать в свою среду. Я глубоко возмущен всем этим и поручаю вам объявить, что по моему повелению выбор Горького отменяется. Надеюсь хоть немного отрезвить состояние умов в Академии».

Алексей Максимович находился в это время в Крыму. Получив известие о выборе своем в Академию наук, он отнесся к этому довольно равнодушно. Но каково было его изумление и негодование, когда в том же «Правительственном вестнике», где всего несколько дней

тому назад было напечатано сообщение о его избрании, он прочел:

«Ввиду обстоятельств, которые не были известны соединенному собранию Отделения русского языка и словесности и Разряда изящной словесности — императорской Академии наук, выборы в почетные академики Алексея Максимовича Пешкова (псевдоним «Максим Горький»), привлеченного к дознанию в порядке ст. 1035 Уст. угол, судопр., объявляются недействительными».

Тотчас же после опубликования этого сообщения на квартиру к Алексею Максимовичу явился становой пристав. Он вручил ему письмо от таврического губернатора, в котором тот предлагал Алексею Максимовичу вернуть извещение Академии наук об избрании его в почетные академики.

Алексей Максимович отказался,— уведомление о том, что он избран почетным академиком, получено им от Академии наук! Пусть академия и обращается к нему с просьбой о возврате этого документа, а при чем тут губернатор?

Ленинская «Искра» откликнулась на этот инцидент статьей, которая называлась: «Несчастный случай с Академией наук».

«Несчастливая Академия! — писала «Искра». — Выбирая недавно Горького в число своих почетных членов, она не знала, что Горький — «политический преступник», привлеченный к жандармскому следствию по обвинению в... «вредном влиянии» на нижегородцев... Не находит ли, однако, Академия, что ни один здравомыслящий человек не может поверить рассказу о том, будто, выбирая Горького, она не знала, кого выбирать?

Не думает ли она, что ее выбор и русской публикой и заграничными газетами мог быть понят только, как сознательная манифестация в честь Горького?..

Собрание мудрецов, посевших в служении... высочайшим покровителям науки и искусств может, конечно, считать окрик начальства достаточным основанием для того, чтобы решиться на дерзкий вызов общественному мнению всех тех, кто читит в Горьком крупную литературную силу и талантливый выразитель протестующей массы.

Но в императорской Академии наряду с архивными крысами и придворными одописцами заседают и такие люди, которых публика считает в рядах противников мракобесия.

Сочтут ли эти деятели для себя пристойным оставаться членами или «почетными членами» учреждения, с которым произошел несчастный случай?»

Такие люди нашлись. Протестуя против отмены выборов Алексея Максимовича Горького, почетные члены Академии наук писатели Антон Павлович Чехов и Владимир Галактионович Короленко демонстративно отказались от звания академиков.

Лишь после Февральской революции Алексей Максимович получил первое приглашение на заседание отдела изящной литературы академии, почетным членом которого он был избран за пятнадцать лет до этого!

Возвращение

В конце апреля 1902 года Алексей Максимович получил уведомление от жандармерии, что срок его пребывания в Крыму истек и он обязан возвратиться в Нижний Новгород. Ему выдали «проходное свидетельство», в котором было указано, что Алексей Пешков не имеет права уклоняться от маршрута, при сем ему врученного, и останавливаться где бы то ни было.

Снова в путь!

В Нижнем Новгороде, на вокзале, Алексея Максимовича встретил сам полицмейстер. Горький рассказал об этой встрече в письме к Пятницкому. Четким шагом полицмейстер подошел к вновь прибывшему и, протянув руку, отчеканил:

«— Честь имею представиться — барон Таубе, местный полицмейстер... — И, помявшись, добавил просительно: — Я прошу вас, будьте великодушны, примите зависящие от вас меры, чтобы при приезде вашем не повторилось того, что было при отъезде...»

Алексей Максимович, взглянув в его растерянное глуповатое лицо, в глаза, выжидательно глядевшие, лишь усмехнулся и ничего не ответил.

Да и что он мог ответить, что мог пообещать полицмейстеру, когда популярность и слава его росли с каждым днем. Если бы он и захотел «помочь» полицмейстеру, ничего бы из этого не вышло, не в его это было власти.

Снова нижегородские жандармы в полной растерянности. Страх перед Горьким не давал спокойно спать по ночам. А что делать? Опять посадить за решетку? Боялись. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Приближалось Первое мая. Нижегородские власти были настороже. В страхе думали они о том, что в Нижнем находится Горький. Он жил в гостинице, готовясь к отъезду в Арзамас, по месту ссылки.

Снова принимались срочные меры. Был установлен «почетный караул» возле гостиницы: двое околоточных, двое конных полицейских и множество сыщиков. Люди, приходившие к Алексею Максимовичу, тщательно проверялись, за всеми устанавливалась слежка.

Однако на этот раз опасения полиции оказались напрасными. Никаких событий в Нижнем Новгороде Первого мая не произошло. Произошли они в Сормове, что явилось для нижегородских властей полной неожиданностью.

Завод

Вот он, мрачный огромный завод,
День и ночь не смолкая вздыхает,
Словно зверь и гудит и ревет,
Чадным дымом всё вокруг застилает...
Сколько здесь человеческих сил
У горна, у машин — за работой
Этот Молох железный сгубил,
Сколько создал нужды и заботы!
Ал. Белозеров

Приехав в 1896 году в Нижний Новгород, Алексей Максимович каждый день бывал на выставке, готовящейся к открытию. В одном из писем к Екатерине Павловне он пишет: «Завтра я не пишу тебе — уезжаю в Сормово осматривать завод».

Алексей Максимович давно и хорошо знал Сормово. В семидесятых годах маленьким мальчиком жил он здесь с матерью, отчимом и бабушкой.

И на всю жизнь, отчетливо, как запоминается только в детстве, сохранились в памяти черные, уходящие в небо трубы завода, дымившие густо и кудряво, зимний ветер, разносивший дым по всему селу и жирный запах гари, наполнявший холодные неуютные комнаты. А по утрам волчий вой гудка: «Хвоу, оу, оу-у...»

Мальчиком влезал он на деревянную лавку и в верхние стекла окна, через крыши, видел освещенные фонарями заводские ворота, поглощающие множество людей, кажущихся маленькими-маленькими по сравнению с огромным заводом... И еще ему запомнилось небо, серое, плоское. Вечером, когда над заводом колебалось мутно-красное зарево, было похоже, что трубы поднимаются не от земли к небу, а опускаются на землю с неба, из дымного облака, дышат, воют, гудят.

Сормово расположено неподалеку от Нижнего Новгорода. В старину местность здесь была лесистая; водилось много медведей, волков, лисиц. Охота и лесное пчеловодство — вот основной промысел сормовичей в прошлом.

В 1849 году приехал в Сормово отставной поручик Д. Е. Бенардаки, грек по национальности, выходец с острова Крита. Его привели в Россию поиски счастья. После войны с Наполеоном по всем европейским странам ходили легенды о несметных российских богатствах.

Бенардаки, приехав в Россию, в двадцатых годах поступил на военную службу. Дослужившись до чина поручика, он вышел в отставку и занялся коммерцией. Вот где открылся его истинный талант!

Бенардаки метался по России, покупал, продавал, наживал. Торговал хлебом, кожами, салом, строил фабрики, заводы, открыл золотые прииски в Сибири.

Прошло двадцать лет, и у Бенардаки уже были собственные заводы на Урале и в Вологде. Огромный кожевенный завод в Петербурге. Железоделательный — в Калужской губернии. Содовый завод и рыбные промыслы в Астрахани.

К середине сороковых годов Бенардаки — крупнейший предприниматель России, откупщик, золотопромышленник, миллионер. Для своего времени это был просвещенный

человек. Он дружил с писателями, художниками, учеными, но превыше всего для него была нажива. Николай Васильевич Гоголь изобразил его во втором томе «Мертвых душ» под именем Костанжогло, у которого «фабрики, как грибы, растут».

В марте 1849 года в Петербурге возникла акционерная пароходная компания, одним из директоров которой был Бенардаки. В Сормово он приехал с намерением построить большой металлургический завод.

Место было выбрано весьма удачно: в десяти верстах большой торговый город — Нижний Новгород. В соседних уездах — в изобилии квалифицированная рабочая сила: в Семеновском уезде — плотники, в Павловском — металлисты.

Две реки — Ока и Волга, — легко и сырье доставлять и отправлять готовую продукцию. Под боком нижегородская ярмарка, славившаяся на весь мир. Чего еще желать!

Бенардаки медлить не любил. В 1849 году заложено было сразу одиннадцать заводских корпусов. Завод строился стремительно и в 1850 году выпустил первое паровое судно «Ласточка» и крупный пароход «Астрахань».

На завод прибыли из Бельгии инженеры, мастера и высококвалифицированные рабочие. Двадцать крепостных семей вывез из Сибири Бенардаки для работы на новом заводе. Но основная масса рабочих — сормовичи и жители окрестных деревень.

Сначала появился прокатный цех, затем мартеновская печь. В 1860 году Бенардаки, купив все акции компании, стал единоличным владельцем завода. В 1871 году Сормовский завод впервые в России выпустил двухэтажный пассажирский пароход американского типа.

Подобные пароходы в то время плавали лишь по реке Миссисипи в Северной Америке. Роскошные каюты с паровым отоплением и водопроводом, широкая крытая терраса, великолепный салон, украшенный картинами из перламутровой инкрустации работы английских фаянсовых заводов. Взойдешь на такой пароход, и сразу тебя охватывает ощущение праздника. На матросах новая синяя форма...

Назвали пароход громким именем — «Переворот». На этом пароходе в 1871 году приехал из Астрахани в Нижний Новгород маленький Алеша Пешков.

Этот пароход и вправду был переворотом в русском пассажирском судостроении. Однако судоходному начальству название «Переворот» показалось крамольным, и «страшное» имя «Переворот» было заменено другим: «Колорадо».

А через некоторое время появились еще такие же пароходы — «Миссури» и «Ниагара».

Так волжские воды стал бороздить «американский» флот. Но сделаны были эти пароходы руками русских умельцев, русскими рабочими-мастерами — сормовичами. В восьмидесятых годах Сормовский завод начинает выпускать вагоны и паровозы, строить морские наливные шхуны. С каждым годом рос и увеличивался завод. Миллионы текли в хозяйский карман. И только те, чьими руками эти богатства создавались, жили безрадостно и трудно.

Немощные улицы поселка утопали в грязи. Назывались улицы: Большая Канава, Новая Канава, Старая Канава. Земля, черная от копоти. Вокруг огромного темно-красного паука-завода лепились одноэтажные домики рабочих. Серые, приплюснутые, они жалобно глядели друг на друга маленькими, тусклыми окнами.

Над Сормовом высилась церковь, тоже темно-красная, под цвет фабрики. Были в поселке и двухэтажные дома, но в них жила «верхушка» рабочего класса — мастера. Рабочие семьи ютились по комнатушкам, по углам, за что приходилось отдавать квартирному владельцу большую часть заработка.

Недалеко от завода, на острове, среди топкого зеленого болота, построен был громадный барак. Добирались туда на лодке или в высоких болотных сапогах. Рабочие прозвали барак «Ноев ковчег». Тяжелый, спертый воздух. Клопы и блохи не давали житья.

Летом обитатели «Ноева ковчега» выезжали на «дачи» — в самодельные чуланчики без окон, немногим больше собачьей конуры, которые мастерили тут же вокруг барака по берегу болота. Мастерили из ржавого железа, гнилых досок и старых ящиков... На заводе условия не лучше. На завод — ад!

В семидесятых годах были изданы особые «Правила для рабочих и мастеровых Сормовского завода». Рабочий день устанавливался в двенадцать с половиной часов. А в действительности был он куда больше.

Во многих цехах работали сорок дней в месяц: кроме тридцати дней, рабочие должны

были под страхом увольнения отработать еще десять ночей.

Твердых расценок не было. Часто за одну и ту же работу платили по-разному, и нередко зависело это от настроения мастера. Правила узаконивали задержку зарплаты, которая и так была ничтожной — чернорабочий зарабатывал в день двадцать пять — тридцать копеек, а квалифицированный рабочий от сорока до шестидесяти копеек.

Вместо денег выдавали «харчевые талоны», по которым можно было покупать продукты только в определенных лавках, где продукты часто бывали и дороже и хуже.

Случалось, что за свою конуру или угол рабочий вынужден был платить не деньгами, а продуктами. Существовали даже своеобразные единицы расчета: фунт сахара или пудовик муки.

И ко всему бесконечные штрафы, вычеты — то на церковноприходские школы, то на постройку новых храмов, то на поддержание благолепия в старых церквях.

Особенно тяжело приходилось на заводе подросткам и детям. Чтобы устроить на работу ребенка, отец должен был «подмазать» мастера — дать ему хорошую взятку. А где взять деньги? И чем только не платили: молоком, маслом, яйцами.

Из первой получки подросток обязан был «поставить клёпку» — угостить мастера и старших товарищей по работе. Рабочий день у ребят длился одиннадцать часов. В некоторых цехах работали даже восьмилетние дети. Над ними издевались, их нещадно били, срывая накопившуюся усталость и злость. Никакой охраны труда не было.

Однажды во время сдачи парохода «Бурлак» морскому ведомству взорвались паровые трубы, и паром обварило восьмерых рабочих. Четверо из них умерло. Ни пособия семьям погибших, ни пенсии инвалидам не выдали. Официальная бумага гласила: «За неотысканием виновников в смерти мастеровых дело предать воле божией...»

В судостроительном цехе так небрежно были устроены подмости и ограждения молотов, что рабочие часто падали в люки, калечились.

На заводе было первоклассное оборудование, установлены сотни новых станков, выпускались лучшие в России вагоны, паровозы, пароходы, морские шхуны, а для рабочих в цехах не удосужились построить даже раздевалки.

Зимой верхнюю одежду бросали прямо под станок или себе под ноги. Ни умывальников, ни мыла. Не было даже воды для питья.

Зато в каждом цехе — «Уголок божий». Теплились лампы, и, хочешь не хочешь, каждую получку вычитали с рабочего пять—десять копеек на лампадное масло. В горячих цехах никакой вентиляции, а температура в некоторых из них доходила до тридцати пяти градусов.

Порой казалось, что люди могут здесь заживо свариться. Дым, копоть. В клубах дыма и пыли с трудом можно разглядеть измученные копошащиеся фигурки. И в этом аду каждый рабочий должен был перенести за день пуды грузов.

Люди падали в обморок, их отливали водой, и они снова вставали на место, чтобы дотянуть тяжкий, бесконечный рабочий день. Наконец долгожданный гудок! Куда идти? Выбор невелик — кабак или церковь. Трактирщики с удовольствием отпускали водку в кредит, а потом получали долг с огромными процентами. Разгуливали вечерами по Сормову пьяные, и лилась под гармонику горькая песня:

Измученный, истерзанный

Работой трудовой,

Идет, как тень загробная,

Наш брат мастеровой...

С утра до темной ноченьки

Стоит за верстаком,

В руках — пила тяжелая,

С пудовым молотком.

Трещит зима холодная,

Купец дает расчет,

И вся семья голодная

Тут по миру идет...

А потом тяжелый сон, душный, с кошмарами. Утром снова гудок. Люди вскакивали с нар, сундуков, а то и просто с пола и, как серые тени, тянулись к мрачным, закоптелым стенам завода. И так изо дня в день, из года в год...

Петр Заломов

Во всем мире известна повесть Алексея Максимовича Горького «Мать». Сотни раз издавалась она в России, переведена почти на все языки земного шара. Все помнят, что главного героя повести зовут Павел Власов. Но не все знают, что прототипом Павла Власова явился человек, живший в Нижнем Новгороде, Петр Андреевич Заломов.

Петр Заломов оставил прекрасные воспоминания, в которых ярко и правдиво рассказал о нелегком своем детстве и о революционной деятельности.

Когда умер отец, Петя был еще маленьким мальчиком. Мать долго не могла устроить его на работу. Обивала пороги, кланялась, просила, плакала — все напрасно. Чтобы получить работу, надо было иметь хорошую протекцию или деньги.

Наконец Петю приняли учеником слесаря на Курбатовский завод, тот самый, что вымотал силы его отца и который отец не называл иначе, как каторгой.

Теперь надо было вставать в четыре часа утра, наспех умываться, одеваться и бежать на завод. Ровно в пять начиналась работа и продолжалась до семи вечера. Только два небольших перерыва на завтрак и обед.

Как нестерпимо хочется спать! Петя готов был повалиться на мостовую, в грязь, куда угодно, лишь бы спать, спать...

Гудок возвещал начало перерыва, и Петя, опустившись где-нибудь в темном углу на старый ящик, уткнув голову в колени, мгновенно погружался в тяжелый сон. Иногда он ложился прямо на пол, покрытый толстым слоем грязи, подкладывал под голову березовое полено и спал, пока его не будил гудок или пинок мастера.

И еще ему всегда хотелось есть,— пожалуй, ни разу за все детство не наелся Петя досыта...

От станков летели огненные стружки, они больно били по лицу, рассекая кожу. Защитных очков рабочим не полагалось, и нередко им выжигало глаза.

Кроме дневной работы, надо было отработать еще три ночи в неделю. В праздничные дни завод тоже работал.

От каторжного труда, от постоянного недоедания спина у Петра согнулась, грудь стала впалой. В семнадцать лет он с отчаянием понял, что не может бегать, не может быстро двигаться. Неизвестно, как бы сложилась его судьба, не попади он к мастеру Пятибратову, члену марксистской группы.

В 1891 году на заводе Курбатова был создан первый марксистский кружок из рабочих, а в 1893 в Нижнем и Сормове насчитывалось уже больше десяти нелегальных пропагандистских кружков.

В августе 1893 года, проездом из Самары в Петербург, посетил Нижний Новгород Владимир Ильич. Он встретился с руководителями нижегородских марксистов. В 1894 году Ленин вторично приезжает в Нижний, снова встречается с местными марксистами. После приезда Ленина, по его совету, нижегородские марксисты устанавливают тесные связи с рабочими районами, и в первую очередь с Сормовом. Развертывается агитация среди рабочих, проводится ежегодное празднование Первого мая...

Первую маевку нижегородцы провели в 1894 году на берегу реки Оки, в тихом местечке Слуда, в нескольких километрах от Нижнего Новгорода.

Был тихий, погожий, весенний денек. Широко разлилась Ока. С утра в мелколистном лесочке стали появляться люди. Они шли небольшими группами, по два-три человека, кто с гармошкой, кто с корзиной, где лежала провизия... Шли мирно, не спеша, словно на загородную прогулку. Вскоре на зеленой полянке собралось человек двадцать — студенческая и рабочая молодежь. Был среди них и Петр Заломов.

Ссылный студент сделал доклад о значении международного пролетарского праздника. Пели революционные песни, и впервые на берегу Оки взметнулся в голубое весеннее небо красный флаг, а на нем лозунг: «Да здравствует международный праздник пролетариата Первое мая!»

А еще через год встретились нижегородцы на берегу великой русской реки Волги, на Моховых горах. Сюда собралось уже человек шестьдесят из Нижнего Новгорода и Сормова. Снова говорили речи, читали революционные стихи, пели революционные песни.

Прошел еще год, и на берегу Волги, напротив Сормова, собралось уже сто человек. В эти

дни город был наводнен жандармами и сыщиками, рыскали провокаторы — ведь Нижний Новгород готовился к встрече государя императора, который должен был приехать на Всероссийскую выставку.

На маевку пробрался провокатор. Жандармам удалось выследить участников, и начались аресты. Было арестовано около ста человек, Петра Заломова почему-то не тронули, и он мучался, что остался на свободе и не разделил участь товарищей.

Но мучения его длились не долго. Прошло несколько дней, и Заломова вызвали к жандармскому полковнику.

Прежде чем явиться в жандармское управление, Петр вымазал лицо голландской сажей с маслом, запихал в каждую ноздрю по маленькому кусочку грязной ваты. Дыхание затруднялось, рот полуоткрыт, — глянул в зеркало — дурак дураком. Костюм надел промасленный, заплатанный, грязный. В таком виде отправился Петр на первое свидание с жандармским полковником.

На допросе Заломов разыграл дурачка, и его отпустили: не стоит, мол, на блаженного время терять!

Сорок человек из числа арестованных были высланы из Нижнего Новгорода. Остальных приговорили к тюремному заключению на разные сроки.

Теперь нижегородские власти могли передохнуть — социал-демократическим организациям Сормова и других заводов был нанесен жестокий удар.

Но правду не убьешь. Революционеры принимают энергично возрождать марксистские кружки, вовлекая в них все новых и новых рабочих.

Митя Павлов

Судьба Мити Павлова тоже сложилась нелегко. С десяти лет начал он работать мальчиком в магазине, потом поступил учеником в модельный цех Сормовского завода. Любознательный и способный, он рано научился читать, страстно полюбил книги. С увлечением читал все, что удавалось достать в церковноприходской библиотеке. Однажды кто-то из рабочих дал ему запрещенную тогда книгу. Называлась она «Овод». Никогда до этого не приходилось Мите читать таких прекрасных книг! Он перечитывал ее много раз, а когда пришло время отдавать, казалось, что растает с лучшим другом. Потом прочел «Андрея Кожухова» Степняка-Кравчинского, «Спартака» Джованьоли. А там дошла очередь до нелегальных брошюр. Митя начал собирать «недозволенные» революционные книги. Опасаясь обыска, он хранил их дома за иконой Николая-чудотворца. Мечтал Митя учиться, но где было рабочему парню выбрать время для систематических занятий?! Вскоре началось иное учение — он стал посещать рабочие кружки.

Затаив дыхание слушал Митя ораторов. Их речи открывали перед ним новый мир — мир борьбы, трудный и прекрасный. Молодой паренек, веселый и остроумный, серьезный и дисциплинированный, вскоре привлек внимание старших товарищей. Ему стали давать поручения, сначала маленькие, потом поважнее.

Митя все исполнял прекрасно. Умел и жандармов обмануть, и от шпика уйти, и привести в кружок нового товарища. Постепенно к нему относились все с большим уважением.

Теперь даже бородатые старики обращались к Мите за советом.

Познакомившись с Петром Заломовым, Митя вскоре стал его лучшим другом и первым помощником. Они вместе горячо принялись за революционную работу. Им помогали старшие товарищи из Нижнего Новгорода. Среди них было множество друзей Алексея Максимовича. Пожалуй, самую большую помощь оказывали молодым ребятам Василий Десницкий и Иван Ладыжников. Это были люди, смолоду посвятившие себя революции. Василия Десницкого в 1899 году за участие в студенческом революционном движении выслали из Дерптского университета на родину, в Нижний Новгород. Здесь он познакомился с Алексеем Максимовичем. Через него осуществлялась связь Горького с Нижегородской организацией РСДРП. Через Десницкого же Алексей Максимович передавал деньги для «Искры».

Иван Ладыжников был организатором подпольных марксистских кружков в Сормове. В 1901 году он вошел в состав первого Нижегородского комитета РСДРП. Ладыжников был большим другом Алексея Максимовича. Дружба эта продолжалась до самой смерти

Горького. Последние годы жизни Горького Ладыжников работал в его секретариате, а после смерти Алексея Максимовича неумолимо трудился по собиранию и опубликованию литературного наследия писателя.

В Нижнем Новгороде у Ладыжникова была конспиративная квартира, а в квартире комод с двойным дном, до отказа забитый нелегальной литературой. Каждую субботу к Ладыжникову приходили Петр Заломов или Митя Павлов, получали литературные новинки, рассказывали о делах на заводе, советовались.

Стараниями таких революционеров, как Василий Десницкий, Иван Ладыжников, Алексей Яровицкий, а также молодых рабочих, как Петр Заломов, Михаил Самылин, Дмитрий Павлов, к концу девяностых годов Сормово становится одним из центров нижегородских социал-демократов.

Сормовский бунт

В июле 1899 года газета «Нижегородский листок» из номера в номер печатала «Письма из Сормова», в которых под псевдонимом «Z» правдиво и резко рассказывалось о тяжелом положении сормовских рабочих.

Авторы писем — рабочий Петр Клоков, Захаров, а иногда письма писались и коллективно.

1899 год вошел в историю Сормовского завода как год большого бунта.

Летом рабочим задержали заработную плату.

Однажды вечером, после окончания работы, возле главной конторы завода собралась большая толпа. Люди стояли молча, но было что-то зловещее и угрожающее в этом молчании.

Перепуганный Фосс — директор завода — пытался заверить рабочих, что деньги выдадут в ближайшие дни. Но рабочие, доведенные до отчаяния, не верили обещаниям директора.

И все-таки Фосс надеялся, что рабочие пошумят и разойдутся. Посулив рабочим золотые горы, Фосс уехал домой. Но толпа не расходилась. Люди продолжали стоять мрачные, негромко переговариваясь между собой. И вдруг стихийно, без какой-либо команды, огромная толпа двинулась к дому, где жил директор.

В окне мелькнула побелевшая от страха физиономия Фосса, в стекла полетели камни.

Перебив окна в директорской квартире, толпа устремилась к сердцу завода — электростанции.

Несколько мгновений — и электростанция остановилась. Аппараты и машины забросали песком, разрушили. Покончив с электростанцией, рабочие отправились в главную контору.

Вскоре заводской двор и прилегающие к заводу улицы были устланы чертежами и документами.

Разгромили канцелярию полицейского пристава и ненавистную «потребилровку» — потребительскую лавку.

Из Нижнего Новгорода для усмирения рабочих губернатор двинул войска. В Сормове начались массовые аресты.

А полицейские уже строчили донесения, что беспорядки — результат «Писем из Сормова», напечатанных в «Нижегородском листке». Газета, мол, возбуждает рабочих против администрации.

«Наказали» «Нижегородский листок» — два месяца не выходила газета.

Мать

В 1900 году на Сормовском заводе стал работать Петр Заломов. Во всех главнейших цехах были нелегальные кружки. В каждом кружке — от трех до семи человек.

Сормово разбили на районы, и каждый район имел своего представителя. Для связи с Нижегородской социал-демократической организацией выделены рабочие — Петр Заломов, Митя Павлов, Михаил Самылин.

Летом в лесу возле Сормова работала «зеленая школа» и «лесной университет» — так рабочие называли сходки и собрания кружков. Часто устраивали катания и «гуляния» на

лодках по Волге. И во время этих прогулок обсуждали текущие дела.

Зимой собирались на квартирах рабочих. Отыскивали в календаре день именин какого-нибудь рабочего «из своих» и компанией человек в сорок отправлялись к нему «гулять». А бывало, на случай, если налетят жандармы, подбирали «жениха» и «невесту», устраивали «помолвку». Для отвода глаз — на столе выпивка и закуска, заливается гармоника, звучат песни.

Чаще всего такие собрания происходили на квартире у Мити Павлова. Приносили гитару, балалайку и даже гусли — чем не репетиция самодеятельного оркестра?

Очень помогала молодежи мать Мити — Васса Семеновна. Соберутся рабочие, спорят, шумят — все молодые, горячие. А Васса Семеновна с неизменным своим вязаньем сидит на завалинке и зорко поглядывает по сторонам — не надвигается ли откуда опасность?

Из Нижнего Новгорода не раз наезжали в Сормово и прокурор и жандармы, но обнаружить им ничего не удавалось. Прокурор ездил всегда на одном и том же извозчике, а извозчик сочувствовал сормовичам. Как услышит, что прокурор и жандармы собираются наведаться в Сормово, так шлет своего сынишку к сестре Петра Заломова, Елизавете Андреевне. Елизавета Андреевна тут же прятала подпольную литературу и мигом — Мите Павлову: гости, мол, едут!

Молодежь быстро расходилась по домам. Тут Васса Семеновна — первый помощник! В такие тайники запрячет всю нелегальщину, что жандармы дом вверх дном переворачивали, а найти ничего не могли. Не раз, разъяренные, грозили они Вассе Семеновне:

— Ну, баба, счастье твое, что ты неграмотная, не то сидеть бы тебе в тюрьме и сидеть! Так же горячо, как Васса Семеновна, помогала рабочим мать Петра Заломова — Анна Кирилловна.

Анна Кирилловна не раз возила листовки из Нижнего Новгорода в Сормово. Однажды она положила листовки на дно железного ведра, а сверху прикрыла их кислой капустой.

Подошла к поезду, видит: в вагон садится жандарм. Анна Кирилловна не растерялась, уселась рядом с ним и завела разговор о том, что недавно дочку в Сормово замуж выдала, а теперь едет к дочке в гости, молодым капустки везет.

— А что, разве в Сормове капусты нет? — удивился жандарм.

— Да такой-то нет! — многозначительно ответила Анна Кирилловна. Так и доехала она под опекой жандарма до Сормова и привезла рабочим целое ведро прокламаций и листовок.

Во время стачки иваново-вознесенских рабочих Анна Кирилловна доставила бастующим большой тюк листовок, запакованный в рогожу. Сколько их было по всей России, скромных и тихих, беззаветных русских женщин, рядом с сыновьями своими мужественно вершившими революцию?!

Алексей Максимович хорошо знал этих женщин, встречался с ними и в Нижнем, и в Сормове, и во время своих странствий по России. Образ Ниловны не выдуман, он воплотил в себе живые черты живых людей.

Борис Рюриков

В романе Горького «Мать» есть сцена похорон революционера Егора Ивановича.

«Пришли на кладбище и долго кружились там по узким дорожкам среди могил, пока не вышли на открытое пространство, усеянное низенькими белыми крестами. Столпились около могилы и замолчали. Суровое молчание живых среди могил обещало что-то страшное, отчего сердце матери вздрогнуло и замерло в ожидании. Между крестов свистел и выл ветер, на крышке гроба печально трепетали измятые цветы...

Полиция насторожилась, вытянулась, глядя на своего начальника. Над могилой встал высокий молодой человек без шапки, с длинными волосами, чернобровый, бледный. И в то же время раздался сиплый голос начальника полиции:

— Господа...

— Товарищи! — громко и звучно начал чернобровый.

— Позвольте! — крикнул полицейский. — Объявляю, что не могу допустить речей...

— Я скажу всего несколько слов! — спокойно заявил молодой человек. — Товарищи! Над могилой нашего учителя и друга давайте поклянемся, что не забудем никогда его заветы,

что каждый из нас будет всю жизнь неустанно рыть могилу источнику всех бед нашей родины, злой силе, угнетающей ее,— самодержавию!

— Арестовать! — крикнул полицейский, но его голос заглушил нестройный взрыв криков:

— Долой самодержавие!

Расталкивая толпу, полицейские бросились к оратору, а он, тесно окруженный со всех сторон, кричал, взмахнув рукой:

— Да здравствует свобода!»

Многое в этой сцене, так мастерски написанной Алексеем Максимовичем, напоминает о событиях, развернувшихся в Нижнем Новгороде весной 1902 года.

Жил в Нижнем Новгороде студент Борис Рюриков. Учился он в Казанском ветеринарном институте, но в 1901 году за активное участие в революционных кружках был из института исключен и арестован. Семь месяцев просидел он в тюрьме и, может быть, отсидел бы больше, если бы тяжело не заболел.

Его отпустили и отправили на родину в Нижний Новгород, на родительские хлеба. А родители сами едва-едва концы с концами сводили. Чтобы хоть немного заработать, Борис Рюриков стал давать уроки, заниматься перепиской бумаг, благо почерк хороший. Тихая, мирная жизнь...

Но разве может долго жить такой жизнью тот, кто надышался вольным студенческим воздухом?

В Нижнем Новгороде Борис Рюриков познакомился с Алексеем Максимовичем, стал посещать революционные кружки, вести пропагандистскую работу, выступать перед рабочими с зажигательными речами. В феврале 1902 года его снова арестовали.

Несмотря на тяжелую сердечную болезнь, Рюрикова посадили в одиночку как опасного государственного преступника. Здоровье ухудшалось с каждым днем. Начались острые боли в лопатке, в спине, дышать было все труднее, не было сил подниматься с тюремной койки...

«Смилостивилось» начальство — видело, не жилец на этом свете Рюриков, — и отпустило его на свободу. Только не мог он уже ходить, и пришлось доставить «преступника» домой из тюрьмы на извозчике.

Четыре дня прожил на воле Борис Рюриков. А на пятый день скончался.

Как ни старалась полиция скрыть, кто довел до смерти юношу, не удалось. Все вольнолюбивое студенчество знало об этом. Прокурор и полицмейстер запретили родителям хоронить сына как положено, на третий день. На этот день приходилось воскресенье — боялись, что слишком много народа придет на похороны. Но и это не помогло. Похороны устроили в будний день, а народу собралось видимо-невидимо. С удивлением разглядывали нижегородцы большие венки, с невиданными доселе красными лентами. На лентах надписи, сделанные типографским способом: «Мы не забудем твоей гибели, товарищ!», «Ты боролся недолго, но честно пал, не требуя венца». Мечется полицмейстер, требует убрать крамольные ленты. Выполнили приказание, убрали ленты. Но друзья тут же привязали новые, написав от руки те же лозунги, и добавили еще один: «Нужно не плакать, а мстить за погибших в ночи...»

Студенты, курсистки, окружив гроб плотным кольцом, несли его на руках до самого кладбища. Медленно двигалась похоронная процессия. А на кладбище, ломая ограды, пробирались по могилам городовые. Между крестами и памятниками мелькали серые шинели околоточных приставов.

Десятки шпионов торопливо сновали по кладбищу. Гроб опустили в могилу, застучала по гробовой крышке тяжелая весенняя земля. Товарищи, сняв шапки, склонили головы над свежей могилой. И тут стало видно, как много на кладбище шпииков и полицейских, — они-то не сняли шапок, не желали почтить память «крамольника»!

Зазвучали страстные речи, и вот уже многоголосое пение огласило прохладный весенний воздух. Пели «Вечную память», потом — гимн русских революционеров «Вы жертвою пали...». Загремела «Марсельеза», и студенты с пением вышли из кладбищенских ворот на улицы. Городовые окружали демонстрантов, заглядывали в лица, стараясь запомнить, чтобы потом опознать на следствии.

На другой день «за демонстративное нарушение порядка и спокойствия в общественном месте» арестовали четырнадцать человек. Среди арестованных был Яков Михайлович Свердлов. Шесть реалистов были исключены из училища за присутствие на похоронах

Рюрикова.

А через два дня студенческая социал-демократическая организация выпустила «Летучий листок № 41» — листовку, из которой нижегородцы узнали все подробности о судьбе Бориса Рюрикова и о его похоронах.

Алексей Максимович хорошо знал этого юношу. Сцена похорон в романе «Мать» как бы вобрала в себя боль и горечь писателя, на глазах которого гибли в борьбе с самодержавием такие прекрасные люди, как Борис Рюриков, Александр Панов, Герман Ливен.

А. В. Яровицкий

В Нижнем Новгороде Алексей Максимович встречался и дружил со многими революционерами. И. П. Ладыжников, В. А. Десницкий, А. И. Пискунов, А. Ф. Войткевич, А. М. Кекишева — много можно рассказывать о каждом из них. Но это тема отдельной книги. И все же нельзя, хотя бы вкратце, не рассказать об одном из друзей Горького — Алексее Васильевиче Яровицком. Активный деятель Нижегородской революционной организации, Яровицкий был также одним из первых пролетарских писателей в России.

Революционная деятельность Яровицкого начиналась как и у многих его сверстников. Еще будучи студентом в Москве, он принимал участие в студенческих волнениях, за что был арестован и сослан в Нижний Новгород.

Однажды на квартиру к Алексею Максимовичу пришел молодой человек и принес свои очерки. Незадолго до этого он послал в петербургский журнал «Жизнь» несколько очерков и статью «Интеллигент-буржуа о М. Горьком». Автор не случайно выбрал именно этот журнал — в нем печатался Владимир Ильич Ленин, здесь часто появлялись произведения Максима Горького. Редактор журнала послал произведения молодого писателя на отзыв Алексею Максимовичу в Нижний.

Узнав, что перед ним автор очерков, которые он уже успел прочитать, Алексей Максимович обрадовался, ласково принял гостя, подробно говорил о достоинствах и недостатках произведений, объяснил, почему они не могут быть напечатаны.

— Вы — человек талантливый, — сказал он, — и должны быть особенно строги к себе! Яровицкий принес новые очерки. Горький внимательно прочел их и, когда через несколько дней Яровицкий снова пришел, сказал ему, что эти очерки лучше прежних и что их уже можно рекомендовать к печати.

Так возникла дружба Алексея Максимовича с талантливым молодым литератором и революционером Яровицким.

Яровицкий становится штатным сотрудником «Нижегородского листка». Он выступает на страницах газеты не только как поэт и прозаик, но и как серьезный литературный критик. Однако занятия литературой не отвлекают его от главной деятельности — революционной.

Яровицкий участвует в работе нижегородского социал-демократического подполья, является одним из организаторов и членов первого Нижегородского комитета РСДРП. Через него осуществляется связь «Нижегородского листка» с Сормовом. Яровицкий связывает Горького со студенческим движением. Социал-демократические организации Нижнего Новгорода передавали через Яровицкого Горькому ряд заданий. Горький же через Яровицкого давал деньги на различные нужды партийной организации.

Для Яровицкого каждое посещение Горького являлось как бы нравственным и умственным освежением. Ведь квартира Алексея Максимовича была центром, где зарождалась новая мысль, где группировалось все свежее, здоровое, талантливое. Яровицкий приводил к Горькому молодых рабочих поэтов. Среди них был Петр Клоков — активный подпольщик из Сормова. Впоследствии Клоков написал об этом времени в автобиографии:

«Работаю на станке и пою свои рабочие песни для рабочих, учусь сам и учу других бороться за лучшую жизнь».

Алексей Максимович отнесся внимательно к рабочему поэту, и вскоре в газетах «Волгарь» и «Нижегородский листок» стали появляться стихи, очерки и заметки Клокова. Но особенную популярность среди рабочих завоевали статьи Клокова о тяжелой жизни сормовичей. Их появления ждали с нетерпением, о них много говорили и спорили.

Сормовская администрация с ног сбилась, разыскивая автора. Клоков был неуловим. Он писал под разными псевдонимами: Семен Тихий, Хмурый, Бытописатель... Но с особенным вниманием и любовью следил Алексей Максимович за развитием таланта Яровицкого. Он придумал ему псевдоним — А. Корнев. С помощью Горького произведения Яровицкого-Корнева начинают появляться в различных журналах и газетах.

С некоторыми произведениями своего ученика Горький знакомит А. П. Чехова и Л. Н. Толстого, и великие мастера русской литературы одобрительно отзываются о них. Как высоко ценил Алексей Максимович талант Яровицкого, можно судить по надписи, сделанной им на своей фотографии: «Без сомнения, с полной уверенностью пишу: будущему крупному писателю Алексею Васильевичу Яровицкому. М. Горький с уважением и любовью. Ноябрь 7-го 1901».

Яровицкий-Корнев умер очень молодым, двадцати семи лет от роду.

В феврале 1903 года была арестована невеста Яровицкого — фельдшерица Саша Кекишева, активная участница социал-демократического подполья.

Посещать арестованную в тюрьме было некому, потому что девушка, вступив на путь революционной борьбы, порвала со своей богатой старообрядческой купеческой семьей. А свидания в тюрьме разрешались только с родственниками.

Яровицкий подает официальное заявление о том, что Кекишева его невеста, и получает разрешение два раза в неделю навещать ее в тюрьме. Но вот он заболел. Однако, боясь пропустить хоть одно свидание, не стал обращаться к врачам.

Тяжело больной, с высокой температурой, приходил он в тюрьму, старался казаться веселым, шутил, смеялся. Но девушка заметила его состояние и послала ему письмо: «Алексей Васильевич, дорогой мой, хороший, в пятницу Вы не приходите, если Вам будет плохо... Вид у Вас ужасный. Обязательно пригласите доктора...»

Яровицкий послушался и обратился к врачу. Но было поздно. Оказалось, что он болен брюшным тифом. И без того опасная болезнь была безнадежно запущена. Спасти его не удалось.

Похороны Яровицкого, так же как и похороны Бориса Рюрикова и Германа Ливена, вылились в политическую демонстрацию. На его похоронах присутствовал весь Нижегородский комитет РСДРП. Среди многочисленных венков был и венок от Алексея Максимовича: «Дорогому товарищу от Алексея Пешкова — М. Горького».

Кладбище опустело. К свежей могиле Яровицкого подошли три странные фигуры — молодая женщина в арестантском халате и два полицейских. С громким рыданием женщина опустилась на колени перед невысоким, только что насыпанным холмиком. Это была невеста Яровицкого, Саша Кекишева.

Тюремная администрация дала ей «милостивое» разрешение, под надзором полицейской стражи, проводить в последний путь любимого человека...

Двадцать семь лет... Очень мало! Но какую большую жизнь прожил этот человек. В прокламации, выпущенной через месяц после смерти Яровицкого Нижегородским комитетом РСДРП, было написано: «Мы не имеем возможности перечислить то, что именно сделано умершим революционером, всякий шаг революционера делается в строгой тайне, столь необходимой для прочности нелегального дела. Часто настоящие подвиги самоотвержения совершаются скрытыми от всяких взоров и навсегда остаются никому не известными. Ведь революционеру не надо славы, не надо похвал. Мы только скажем о нашем товарище, что в Нижнем Новгороде А. В. более 3-х лет напряженно работал».

Да, революционеры не думали о славе и похвалах. Но люди, за счастье которых отдали они жизнь, бережно хранят о них благодарную память.

Сохранял благодарную память об Алексее Яровицком и Алексей Максимович Горький. В его эпопее «Жизнь Клима Самгина» выведен революционер Корнев, сотрудник провинциальной газеты и активный член местной социал-демократической организации. Он пишет листовки и прокламации, распространяет их, организует демонстрации. После его безвременной смерти социал-демократическая организация выпускает листовку... Все это штрихи биографии Алексея Яровицкого-Корнева. Молодой поэт, революционер на всю жизнь запомнился Алексею Максимовичу, и через тридцать лет, в последнем своем произведении, он вновь обращается к его образу.

Демонстрация

Первого мая 1902 года день выдался пасмурный. С утра шел дождь. В первую смену не вышло на работу около шестисот человек. Несколько дней назад на квартире Саши Кекишевой состоялось заседание Нижегородского комитета РСДРП, где было принято решение о проведении в Сормове Первого мая открытой политической демонстрации. Нести знамя поручено было Петру Заломову. Накануне Анна Кирилловна Заломова съездила в Нижний Новгород к Ладыжникову и получила у него красное знамя. Обмотав себя полотнищем, она привезла его в Сормово, а Митя Павлов спрятал знамя в ельнике. После обеда дождь стих, кое-где лучи солнца прорезывали облака. На улицах Сормова стал появляться народ. Часам к пяти вся главная улица — Большая дорога — была забита людьми: мужчины, женщины, дети...

Окончилась первая смена, люди всё прибывали и прибывали. Толпы запрудили все прилегающие к заводу переулки. Ребятишки сидели на деревьях, на крышах домов. Группа рабочих, человек в пятьдесят, среди которых, очевидно, были провокаторы, обратилась к народу с призывом идти громить завод. Их просили успокоиться, но они, не слушая товарищей, отделились от толпы и направились к заводу.

«Пора!» — решили комитетчики.

Митя Павлов принес из леса знамя. Его быстро прикрепили к дереву. И вот над толпой взметнулось на ветру и уже реет в весеннем воздухе красное полотнище, а на нем лозунг: «Долой самодержавие!»

Рабочие выстроились, и колонна человек в двести с пением «Варшавянки» медленно двинулась по главной улице Сормова. Впереди всех — Петр Заломов. В руках у него красное знамя. Чтобы можно было хорошо прочитать надпись на полотнище, Митя Павлов, развернув знамя, поддерживает его за концы. Рядом идет Михаил Самылин. Толпа расступается, пропуская демонстрантов. Прошли сто метров... двести, еще и еще. В толпе слышатся отчетливые возгласы:

— Долой самодержавие!

Возгласы, пение — все сливается в единый многоголосый гул. Женщины машут платками, мужчины подбрасывают фуражки, у многих по лицу текут слезы...

И вдруг с соседней улицы донеслась громкая дробь барабана. Навстречу демонстрантам вышла рота солдат. Бодрый мотив «Варшавянки» сменяет тягуче-печальный «Вы жертвою пали...». Толпа подхватывает песню, заглушая барабанную дробь. Солдаты серой тучей движутся на демонстрантов, взблескивают на солнце штыки...

Солдаты все ближе, ближе. Слышится команда:

— Ружья на руку! Бегом марш!

Петр Заломов поднимает знамя еще выше и идет навстречу солдатским штыкам.

Побледнели лица солдат. Минутное замешательство, и, не дожидаясь команды, рота остановилась. Но вот громкий окрик офицера, и Заломову скрутили руки, стали бить прикладами.

— За что бьете?! — прозвучал над толпой громкий, твердый голос Заломова.

На лицах солдат снова замешательство. Прекратилось избиение, опущены штыки.

Заломова увели.

Арестован был только Петр Заломов, остальным демонстрантам удалось скрыться. Но в эту же ночь в Сормове начала свирепствовать охранка. Обыски почти в каждом доме, и везде они кончались ничем — жандармы ничего не могли найти. И все же четырнадцать сормовичей были арестованы, преданы суду.

1 июня газета «Искра» писала о Заломове:

«Товарищи! Кто из вас не преклонится перед мужеством этого человека, который один, не боясь солдатских штыков, твердо остался на своем посту. Мы никогда не забудем его примера, товарищи! И пусть все твердо запомнят те слова, что стояли на знамени. Пример его возбудит в нас горячее, неудержимое желание до конца бороться за свободу...»

Суд над Заломовым

В день демонстрации Алексей Максимович находился в Нижнем Новгороде. Он жил в гостинице «Россия», окруженный сыщиками и шпиками. Весть о забастовке взволновала его до глубины души. Он понимал, что борьба только начинается. Правительство будет деятельно готовиться к суду над сормовичами, значит, нужно помочь им и советом и делом.

Надо привлечь внимание общественности к судебному процессу и превратить процесс в новую политическую демонстрацию. А для этого нужно, чтобы как можно больше людей знали о сормовских событиях, сочувствовали им. Надо выпустить листовки с призывами отстоять товарищей. Но много ли можно выпустить листовок кустарным способом на гектографе или мимеографе?

Нижегородский комитет РСДРП принял решение организовать свою типографию. Алексей Максимович со всей страстностью берется помогать комитету.

Через несколько дней после демонстрации Алексей Максимович должен был уехать в ссылку, в Арзамас. Поэтому типографию решили организовать в Арзамасском уезде, в глухих лесах около Понетаевского монастыря.

Алексей Максимович дал деньги на устройство типографии и выписал в Арзамас своего хорошего знакомого столяра Лебедева. В Нижнем Новгороде на квартире у Лебедева собирался рабочий кружок, который часто посещал Алексей Максимович. Лебедев сделал Алексею Максимовичу стол с потайными ящиками для хранения нелегальной литературы.

По поручению комитета РСДРП другой знакомый Горького, слесарь Козин, перевозит в Понетаевку оборудование типографии. В целях конспирации типографию устроили в помещении казенной винной лавки. Лебедев стал сидельцем винной лавки, днем торговал вином, а по ночам в комнатке, примыкавшей к лавке, печатал листовки, прокламации и «Нижегородскую рабочую газету».

Эти издания распространялись не только в Нижнем Новгороде и Нижегородской губернии, но и в других губерниях Поволжья. Дела типографии шли успешно. Но однажды, когда Лебедев уехал в Нижний Новгород с очередной партией литературы, какие-то громилы напали на винную лавку. Ограбление казенной винной лавки — событие не шуточное! С часу на час ждали приезда полиции.

Жена Лебедева вызвала его телеграммой. К счастью, Лебедев успел вернуться вовремя. С большим риском погрузил он на подводы и вывез оборудование типографии. Когда нагрянула полиция, его и след простыл. Полицейские донесли по начальству, что сиделец сбежал. О том, что здесь находилась типография, никто не догадался. Пропал лишь залог, внесенный за сидельца лавки.

Типографию перевезли в Нижний Новгород. Снова Алексей Максимович дает деньги, достает необходимое оборудование. Для работы в типографии из Иванова-Вознесенска прислали партийного товарища. Чтобы усыпить бдительность полиции, решили купить бакалейную лавочку на Телячьей улице.

Лавочка примыкала к жилым комнатам — все чинно, мирно, не вызывает никаких подозрений. Типография находилась под полом. В кухне был подпол, а под жилыми комнатами и под лавочкой проходил лишь небольшой лаз. Работнику типографии пришлось проделать поистине титаническую работу: выкопать под домом помещение для типографии, а всю лишнюю землю незаметно выбросить и утрамбовать.

Вскоре типография была оборудована. Приобрели патент на право торговли, повесили вывеску, отслужили молебен всем святым. И лавочка и типография начали свою работу. Только за вторую половину 1902 года типография напечатала 25 тысяч прокламаций. «Нижегородская рабочая газета» выходила тиражом до трех тысяч экземпляров. Здесь перепечатывались даже отдельные номера «Искры».

А день суда над сормовичами приближался. Тянулось следствие. В Арзамас к Алексею Максимовичу приезжает за советом Жозефина Эдуардовна Гашер. Впоследствии эта женщина стала женой Петра Заломова. Француженка по национальности, учительница, профессиональная революционерка, Жозефина Эдуардовна работала пропагандистом и агитатором в кружках сормовских рабочих. Она была активной участницей собраний, где обсуждался вопрос о первомайской демонстрации.

После ареста Петра Заломова и его товарищей Жозефина Эдуардовна перешла на нелегальное положение и продолжала работать под партийной кличкой «Мария Ивановна».

Жозефина Эдуардовна приехала к Горькому, чтобы посоветоваться, как помочь арестованным сормовичам.

Алексей Максимович принял ее сердечно, обещал поддержку. 2 сентября 1902 года окончился срок высылки Алексея Максимовича, и он возвратился в Нижний Новгород. Сормовичи, участники демонстрации, еще томились в тюрьме, ожидая суда.

В первые же дни после возвращения Алексея Максимовича его навестила мать Петра Заломова — Анна Кирилловна.

Алексей Максимович и раньше много слышал о ней, но каково же было его удивление, когда Анна Кирилловна рассказала, что в молодости дружила с его матерью Варварой Васильевной Кашириной.

Мать Анны Кирилловны, так же как и бабушка Алексея Максимовича, родилась в Балахне, была коклюшница — кружевница, — а дед — балахнинский плотник. Зимами плотничал, а весной уходил бурлачить. Несколько лет ходил он водоливом на расшиве, и в его бурлацкой артели бурлачил Василий Каширин, дед Алексея Максимовича. Василий Васильевич Каширин даже крестил мать Анны Кирилловны. А мать Анны Кирилловны в свою очередь крестила дочь Кашириных Варю — мать Алексея Максимовича.

Анна Кирилловна рассказывала, что в те давние времена часто бывала у Пешковых, хорошо помнит Алексея Максимовича мальчиком — шустрый был, веселый, озорной... Взволнованный, слушал Алексей Максимович ее рассказы. Картины далекого детства всплывали в памяти...

С тех пор Горький держал тесную связь с Анной Кирилловной, как мог, утешал, ободрял, выписал из столицы лучших адвокатов. За делом сормовичей внимательно следила газета «Искра». На своих страницах она обличала тюремные власти, которые вели себя незаконно по отношению к арестованным: обыскивали на свиданиях, лишали свиданий, сажали в одиночки и карцеры. В знак протеста все арестованные сормовичи объявили голодовку. Заломов отказался и от воды; через несколько дней в тяжелом состоянии его положили в больницу.

Теперь Алексей Максимович каждый день посылал с Анной Кирилловной хороший обед для Петра, чтобы он поправился после голодовки.

«...Товарищи! — писала листовка под заголовком «Из тюрьмы на волю». — Вы читаете не о пытках в древние века. Вы читаете о своих товарищах, самых любимых и уважаемых. Это не воры, не преступники, это правдивые, честные, самоотверженные люди, виновные только в том, что смело грудью встали за всех трудящихся и угнетенных, что слишком возлюбили свободу нашей родины».

Да, эти были честные самоотверженные люди, которые готовы были пожертвовать жизнью за общее дело, за счастье людей. Много позднее в своих воспоминаниях П. А. Заломов писал о том времени, когда он сидел в тюрьме:

«В моем мозгу звучала «Песня о Соколе» — самая моя любимая песня из всех, какие я знал. Я хотел упасть с высокого неба и разбиться, как смелый Сокол. Я понимал, я чувствовал счастье битвы и наслаждался этим».

Все ближе день открытия процесса.

На квартире Алексея Максимовича — настоящий штаб. Горький должен был выехать в Москву, чтобы присутствовать на репетициях пьесы «На дне», но решил задержаться до конца процесса. Он пишет Пятницкому:

«Ах, как часто и с каким удовольствием я здесь ругаюсь! Всё с адвокатами. Продолжу сие занятие до 28-го или 29-го, затем в Москву...»

Петр Заломов, Михаил Самылин и другие сормовичи решили отказаться от адвокатской защиты и защищать себя сами. Петр Заломов пишет свою речь и пересылает ее Горькому, Алексей Максимович редактирует ее.

Опасаясь демонстраций и протестов, нижегородские власти долго скрывали день, когда начнется процесс. Но разве такое утаишь? Скоро весь город знал, что Петербург назначил дело к слушанию 28 октября 1902 года.

Странное впечатление производило здание областного суда, расположенное на центральной улице города. Казалось, это крепость, которая готовится к длительной

осаде. Срочно заколачивали запасные входы, окна. Возле главного входа поставили дополнительную стражу. В здание суда ввели отряд солдат, во дворе засада — шестьдесят городских.

Да и весь город был словно на осадном положении. По улицам разъезжали конные стражники, около здания, на тротуарах, размахивая метлами, разгуливали десятки дворников. И полицейские, полицейские...

А по городу ходила новая листовка:

«Ко всем нижегородцам!

По дорожке большой,

Что Владимирской славна зовется.

Цвет России идет, кандалами звенит.

...Граждане нижегородцы! 28 октября в городе нашем совершится нехорошее, недоброе дело. У нас почти на глазах, за закрытыми дверями суда совершится громаднейшее насилие, величайшая несправедливость; за правду, неприятную правительству, будет вынесен пристрастный, жестокий приговор лучшей нашей молодежи, цвету нашего молодого поколения...»

Рабочих доставили в суд в два часа ночи. Везли в темном трамвайном вагоне. Суд проходил в полупустом помещении при закрытых дверях.

Первым выступил на суде Петр Заломов. Его речь продолжалась целый час. Он подробно рассказал о тяжелой жизни бедняков, говорил о притеснениях, несправедливостях и издевательствах, которые приходится терпеть рабочим. О том, как тяжело все это видеть и не иметь возможности им помочь. Но его, рабочего человека, краешком коснулось просвещение, и он понял, кто друг, а кто враг, понял, что должен бороться за свою свободу. И он, Петр Заломов, поняв это, стал убежденным революционером, решил посвятить свою жизнь борьбе с врагами рабочего класса, борьбе с самодержавием.

Речь Петра Заломова была отпечатана Нижегородским комитетом РСДРП отдельной листовкой, широко разошлась среди рабочих России и проникла за границу.

Последующие речи тоже звучали как обвинительный акт против правительства. Комитет их размножил в тысячах экземпляров и распространил среди нижегородцев и соромовцев и переслал в «Искру».

1 декабря 1902 года речи Заломова и других нижегородских рабочих на суде были опубликованы в «Искре» под названием «Нижегородские рабочие на суде». Им предпослана статья В. И. Ленина «Новые события и старые вопросы», в которой Владимир Ильич называет речи рабочих превосходными.

Как жалко выглядели на суде жандармы, сыщики, полиция... Подсудимые и защитники уличили их во лжи, подлости, подкупе. Алексей Максимович внимательно следил за процессом. 31 октября он пишет в одном из писем:

«Сормовский процесс кончился, 6 человек во главе со знаменосцем Заломовым осуждены на поселение, 7 — оправданы».

Алексей Максимович выехал в Москву.

Перевезли в Москву и Петра Заломова, посадили в Бутырскую тюрьму. В Бутырках Петр Заломов написал письмо «Из-за решетки», которое в Нижнем Новгороде было выпущено специальной листовкой за подписью «Заломов» и без подписи опубликовано в «Искре»: «Я жалею об одном: что так мало могу дать нашему родному делу дать только одну жизнь! Я бы пошел теперь на муки, на пытки, а мне дали... всего вечную ссылку... Но пока у меня останется хоть капля крови, во мне не умрет... твердая вера в нашу неизбежную победу над врагом».

Следом за Петром Заломовым приезжает в Москву Жозефина Эдуардовна Гашер — его невеста. Она добивается свидания с ним. Отправляясь на свидание, Жозефина Эдуардовна побывала у Алексея Максимовича, который просил ее передать Петру, что сделает все, чтобы помочь ему бежать из ссылки.

Жозефина Эдуардовна ездила по стране, распространяя листовки с речью Петра Заломова. В январе 1904 года она была арестована в Ростове. Ее судили, приговорили к ссылке. Местом ссылки избрала она село Маклаково, Енисейской губернии, где в то время уже находился и Петр Заломов.

В романе Алексея Максимовича Горького «Мать» есть яркий образ революционерки

Саши. Горький запечатлел в нем многие черты и Жозефины Эдуардовны Гашер и Александры Мартемьяновны Кекишевой.

Каждый месяц посылал Алексей Максимович Петру Заломову деньги в Сибирь. А весной 1905 года передал через члена комитета РСДРП О. И. Чачину триста рублей для организации побега.

Побег прошел удачно, и в 1905 году Петр Заломов впервые встретился с Алексеем Максимовичем на даче в Куоккала, в Финляндии.

Судьба Петра Заломова и Мити Павлова

Алексей Максимович и Петр Заломов не были до сих пор лично знакомы. И вот они встретились, два человека, так много знавшие друг о друге.

Петр Заломов прожил на даче Горького несколько дней. Они гуляли, разговаривали, Алексей Максимович подробно расспрашивал Заломова о сормовских событиях, о его товарищах-сормовичах. Впоследствии многие из этих рассказов приводит Алексей Максимович в романе «Мать».

Расстались они друзьями и через несколько месяцев встретились в Москве.

Это были студеные зимние месяцы, когда московский пролетариат готовился к вооруженному восстанию. Петр Заломов принимал деятельное участие в его подготовке. В эти дни — он частый гость на квартире Алексея Максимовича. И снова долгие разговоры...

В 1906 году тяжелая болезнь свалила Петра Заломова. Пошла горлом кровь, сердечные приступы следовали один за другим. Он был вынужден отойти от активной партийной работы.

После Октябрьской революции Петр Заломов несколько раз приезжал в Сормово, встречался со старыми друзьями. В 1949 году, когда торжественно отмечалось столетие Сормовского завода, Петр Заломов за революционные заслуги был награжден орденом Ленина.

Умер он в 1955 году.

Так сложилась жизнь этого человека, которому Алексей Максимович дал вторую, вечную жизнь, изобразив его в романе «Мать» в образе Павла Власова.

Несколько по-иному сложилась судьба его друга Мити Павлова.

Митя Павлов каким-то чудом избежал ареста после маевки 1902 года и не был участником сормовского процесса.

В 1905 году во время Декабрьского вооруженного восстания Митя Павлов привез из Петербурга в Москву, на квартиру Алексея Максимовича Горького, большую коробку, где хранились капсулы гремучей ртути. И еще он привез пятнадцать аршин бикфордова шнура, обмотав его вокруг груди.

После восстания Митя Павлов перебрался в Петербург. По рекомендации Алексея Максимовича квартира Мити Павлова на Выборгской стороне была предоставлена в распоряжение Русского бюро ЦК РСДРП. Там организовали подпольную явку.

С осени 1916 года эта квартира стала местом заседаний Русского бюро ЦК. На квартире Павлова много раз бывал Владимир Ильич Ленин.

В ночь с 17 на 18 (с 30 на 31 нового стиля) октября 1917 года на этой квартире Владимир Ильич заслушал сообщение о ходе подготовки вооруженного восстания в Петрограде и дал ряд важнейших советов и указаний.

Умер Дмитрий Александрович Павлов в 1920 году, от тифа.

Алексей Максимович посвятил ему очерк, который так и называется — «Митя Павлов».

Так рождалась книга

«Мысль написать книгу о рабочих явилась у меня еще в Нижнем, после сормовской демонстрации. В тоже время начал собирать материал и делать разные заметки», — писал в 1933 году Алексей Максимович в письме к Десницкому.

Близкий друг Горького, актриса Художественного театра М. Ф. Андреева, вспоминает, что первые наброски романа «Мать» были сделаны еще в 1903 году. В 1904 году, в Риге, Алексей Максимович читал своим домашним первые главы романа. Закончил он его

лишь в 1906 году, в Америке.

В романе «Мать» подробно и ярко описана знаменитая сормовская демонстрация. Есть там и другие главы и эпизоды, почерпнутые Алексеем Максимовичем из жизни Сормова. Вспомните, например, про «болотную копейку»! Этот эпизод также произошел в Сормове. Сразу за заводом начинались большие болота. Заводууправление решило осушить их. А где взять деньги? Конечно, с рабочих! С каждого заработанного рабочим рубля стали удерживать одну копейку. Рабочие завода, возмущенные этой несправедливостью, выступили с резким протестом...

Порой с документальной точностью описывает Горький революционные кружки сормовичей, их конспиративные собрания, нелегальное печатание прокламаций, маевки...

Как мы уже раньше рассказывали, Алексей Максимович был лично знаком со многими сормовичами — участниками революционного движения. Хорошо знал он и братьев Гариновых — Григория и Степана. Григорий был мужем сестры Петра Заломова. Высокий, широкоплечий, он был старше Петра, но с гордостью называл себя его учеником.

Оба брата ездили по деревням, вели пропагандистскую работу среди крестьянской бедноты. Сами по происхождению крестьяне, они хорошо понимали крестьянские нужды, и потому речи их всегда доходили до сердца слушателей.

Во время одной из таких поездок Степана Ивановича Гаринова схватила охранка. Его посадили в тюрьму, жестоко пытали. Он не выдержал мучений и лишился рассудка. Многие считают, что образ Рыбина в романе «Мать» Алексей Максимович писал с братьев Гариновых.

Сам Алексей Максимович не раз говорил о том, что один человек не может дать полный материал для героя книги.

«Когда писатель работает книгу, он изображает в ней не портрет того или другого знакомого ему человека, а старается изобразить в одном человеке многих, похожих на этого одного человека...

Была ли Ниловна? В подготовке революции, в «подпольной работе» принимали участие и матери. Я знал одну старуху, мать рабочего-революционера, которая, под видом странницы, развозила революционную литературу по заводам и фабрикам.

Нередко матери, во время тюремных свиданий с сыновьями, передавали им записки «с воли», от товарищей. Мать одного из членов ЦК партии большевиков хранила печать комитета на голове у себя, в прическе.

Жандармы дважды делали обыски в квартире, а печать не нашли. Такие матери были не так уж редки...»

И еще говорит Алексей Максимович:

«...Ниловна — портрет матери Петра Заломова, осужденного... за демонстрацию 1 мая в Сормове. Она работала в организации, развозила литературу, переодетая странницей, в Иваново-Вознесенском районе и т. д. Она — не исключение. Вспомните мать Кадомцевых, судившуюся в Уфе за то, что она пронесла в тюрьму сыну бомбы, коими была взорвана стена во время побега. Я мог бы назвать с десятков имен матерей, судившихся вместе с детьми и частью лично мне известных».

А вот что писал Алексей Максимович по поводу своего героя, Павла Власова:

«Павел Власов — характер тоже не редкий. Именно вот такие парни создали партию большевиков. Многие из них уцелели в тюрьмах, в ссылке, в гражданской войне и теперь стали во главе партии...»

Конечно же, роман «Мать» — это не только история Сормова, сормовских рабочих. Это история революционного рабочего класса России. Потому-то книга эта стала настольной у рабочих всего мира.

И все-таки корни ее, истоки, находятся в Сормове. С детства знал Алексей Максимович тяжелую рабочую жизнь, наблюдал картины беспросветного труда, сам пережил лишения и невзгоды. Горести сормовских рабочих и чаяния их были его горестями, его чаяниями. Не случайно он дружил с ними, помогал, защищал, советовал.

Это-то знание рабочей жизни, многолетняя дружба с рабочими, освещенные огромным писательским талантом, и помогли Алексею Максимовичу Горькому создать роман.

В мае 1907 года на Пятом съезде РСДРП Алексей Максимович встретился в Лондоне с

Владимиром Ильичей Лениным.

Владимир Ильич еще в рукописи прочел роман «Мать». В разговоре с Горьким он дал роману высокую оценку. Вот как вспоминает об этом разговоре Алексей Максимович: «Я сказал, что торопился написать книгу, но — не успел объяснить, почему торопился,— Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении незаметно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя. «Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент».

И сейчас, в наши дни, книга эта не утратила своей современности!

Начало дружбы

Удивительно устроена жизнь! Случается, живут два человека, идут долгие годы по жизни рядом и даже не подозревают об этом. А потом наступает такой момент, когда они наконец встречаются, становятся близкими друзьями и не перестают удивляться, как это могло получиться, что так долго не были знакомы.

Когда Алеша Пешков работал пекарем в Казани, в это же самое время, через квартал от пекарни, Федя Шаляпин трудился в учениках у сапожника. По воскресеньям оба дрались на «кулачных боях» на льду казанского озера. Оба откликнулись на объявление казанского театра: пришли пробовать голоса. Горького в хор приняли, а Шаляпину, как безголосому, отказали. Шаляпин был на четыре года моложе Горького, и в это время у него ломался голос.

А через несколько лет, когда Шаляпин, без копейки денег, пробирался буксирным пароходом в Нижний Новгород на ярмарку и, чтобы подработать, на каждой пристани нанимался грузчиком, Горький тоже работал грузчиком на самарских пристанях.

И в Тифлисе жили они близко друг от друга. Шаляпин служил в управлении Закавказской железной дороги по бухгалтерской части, Горький работал в мастерских той же дороги. Сначала молотобойцем в кузнечном цехе, а затем конторщиком и маляром.

И на Всероссийскую промышленную выставку в Нижний Новгород приехали они одновременно: Горький — корреспондентом, Шаляпин — на открытие драматического театра. Жили рядом, ходили по улицам, любовались родной Волгой, которую оба самозабвенно любили, но так и не встретились.

Еще раз свела их судьба в Тифлисе: Шаляпин пел в театре, а Горький находился неподалеку, в тюрьме Метехского замка! Больше десяти лет шли они одной дорогой — через нужду, горе, трудности, успехи, славу.

Лишь в октябре 1900 года в Москве они познакомились. Алексей Максимович писал Антону Павловичу Чехову:

«Шаляпин — простой парень, большущий, неуклюжий, с грубым умным лицом. В каждом суждении его чувствуется артист. Но я провел с ним полчаса, не больше».

Однако этому первому знакомству еще не суждено было перейти в дружбу. По-настоящему они подружились лишь через год. Шаляпин приехал в Нижний Новгород на гастроли.

Алексей Максимович, после выхода из тюрьмы, жил на даче на Моховых горах.

Шаляпин спел уже в «Фаусте», в «Русалке», а Горький еще не был ни на одном спектакле. Наконец ему удалось попасть в театр. Давали «Ивана Сусанина».

Исполнение Шаляпиным главной роли — Ивана Сусанина — потрясло Алексея Максимовича. В антракте, перед последней картиной, когда Сусанин погибает в дремучем лесу, Алексей Максимович пришел за кулисы, обнял Шаляпина, сказал, что счастлив снова увидеться с ним.

— Люблю, как плачете, вспоминая о детях... — растроганно говорил Алексей Максимович. После спектакля Горький с женой и с Шаляпиным поехали в ресторан ужинать. А оттуда домой, где и просидели за самоваром до утра.

Шаляпин, как и Горький, был прекрасным рассказчиком. Перебивая один другого, вспоминали истории своего детства и юности, удивляясь, как схожи их судьбы.

Так завязалась дружба, длившаяся долгие-долгие годы. Дружба, сыгравшая большую роль в жизни Шаляпина. Влияние, которое оказывал на него Горький, было огромно.

Теперь Алексей Максимович не пропускал ни одного спектакля с участием Шаляпина. А Федор Иванович все свободное время проводил у Пешковых. Случалось, приходил к ним с утра, сидел весь день, до начала спектакля, а вечером снова возвращались вместе — попить чайку. Бывало, что целые дни бродили они по улицам, любовались Откосом, Волгой.

В те годы трудно было найти в России людей более знаменитых, чем Горький и Шаляпин. Где бы они ни появлялись, это всегда вызывало любопытство у публики. В городе только и разговоров: Шаляпин и Горький проехали на лихаче по центральной улице города; Горький и Шаляпин в небольшой лодочке покачиваются на волнах посреди Волги. Их можно было встретить и в шумной гостинице «Россия», где они обедали «на народе», и возле дешевых ярмарочных балаганов. Везде и всегда вместе.

Нижегородский фотограф Дмитриев сделал в те дни много фотографий Алексея Максимовича и Федора Ивановича и продавал их нижегородцам.

Шаляпин, так же как и Горький, очень любил Нижний Новгород. Позднее он писал: «...Нижний Новгород — милый, приятный, какой-то родной русский город, со старинным Кремлем, стоящим на горе при слиянии двух прекраснейших русских рек — Волги и Оки». В те дни Федор Иванович много и охотно пел. Пел утром в гостинице, пел на прогулках на Откосе, пел на Волге и особенно часто дома у Алексея Максимовича.

Пешковы жили тогда в доме Лемке на Канатной улице (ныне улица Короленко).

Остроумный, находчивый, веселый, он быстро завоевал симпатии друзей Горького. А у Алексея Максимовича каждый день собирались друзья. Здесь были врачи и адвокаты, учителя и «пишущая братия», как ласково называл Алексей Максимович своих коллег. Арии сменялись романсами, романсы — русскими народными песнями.

Часто пели хором. Окна и двери открыты настежь. Во дворе и на улице под окнами, а порой и на противоположной стороне собирались толпы. Закончена ария — и с улицы доносится гром аплодисментов.

Вскоре слух о концертах у Пешковых прошел по городу. На Канатную улицу потянулась молодежь — гимназисты, курсистки. Шаляпин запевал «Дубинушку», гости подхватывали припев, им вторила вся улица. В соседних домах раскрывались окна, люди выходили на балконы. Спускались на тротуары. В окна к Пешковым летели букеты цветов.

Но случалось и такое: однажды кто-то бросил Шаляпину в раскрытое окно серебряный рубль, завернутый в бумажку. Федор Иванович рассердился, возмутился. В этот вечер он больше не пел, сидел мрачный, расстроенный.

Екатерина Павловна Пешкова вспоминает, как однажды вышли всей компанией провожать Федора Ивановича. Остановились в тесной маленькой прихожей, снова завязался оживленный разговор. Зашла речь о «Евгении Онегине», и Шаляпин тут же спел наизусть чуть ли не всю оперу, с большим комизмом изображая и Ольгу, и няню, и Ларину...

Однажды Горький и Шаляпин стояли перед началом спектакля в нижнем фойе театра и разговаривали. Вдруг они увидели, что к кассе направляется ретивый прокурор Утин, тот самый, что производил обыск у Алексея Максимовича и допрашивал его в тюрьме. Шаляпин быстро забежал в кассу. Прокурор важно подошел к окошечку. Вместо кассира оттуда выглянул Шаляпин. Лишь только прокурор раскрыл рот, чтобы спросить билет, как Шаляпин прогудел своим неповторимым басом:

— Все би-илеты про-о-о-даны!..— и с силой захлопнул окошечко.

На следующий день весь город только и говорил, что о выходке Шаляпина.

Народный дом

Гастроли закончились, а Шаляпин не хотел уезжать. Он остался в Нижнем Новгороде на несколько дней. Алексей Максимович решил использовать эти дни для того, чтобы ускорить осуществление своей заветной мечты.

Летом минувшего, 1900 года 8 августа в Нижнем Новгороде состоялась закладка здания Народного дома.

«Дом просвещения, труда и отдыха», — называл его Алексей Максимович, который был вдохновителем этой стройки.

Городская дума отвела за городом земельный участок, позади здания нижегородского

острога. Народный дом строился по проекту архитектора П. П. Малиновского.

Прошел год, стройка подвигалась медленно.

Горький уговорил Федора Ивановича Шаляпина дать концерт в пользу постройки Народного дома. Едва пронесся слух, что будет петь Шаляпин, весь город устремился к театру. Очередь за билетами растянулась на целый квартал. Билеты были проданы за один день.

Пришлось вносить приставные стулья в партер, в ложи, на галерку и даже... в оркестр. Билеты на верхние ярусы продавались по сниженным ценам — Алексей Максимович хотел, чтобы на концерт попало побольше молодежи и рабочего люда. Зато билеты в партер и в ложи стоили дороже обычного.

Газета «Нижегородский листок» сообщала, что по случаю концерта Шаляпина, на который собирается много сормовичей, вечером на пристани их будет ждать специальный пассажирский пароход, чтобы доставить в Сормово всех побывавших на концерте.

Программа концерта состояла из трех отделений. Никогда стены нижегородского театра не слышали таких оваций. На сцену непрерывным потоком сыпались живые цветы. Это был настоящий триумф. Талант Шаляпина заморозил буквально всех. Да и как иначе? Для знатоков это был лучший певец России, которому уже аплодировали Москва и Петербург, Париж и Милан. Для молодежи, студентов, рабочих Шаляпин — свой парень, выходец из низов, волгарь, друг Максима Горького.

Публика неистовствовала. Пятнадцать вещей исполнил Федор Иванович, а зал продолжал сотрясаться от аплодисментов. Люди не хотели расходиться.

Особенно большой успех вызвало исполнение романса Рубинштейна «Узник» и «Блоха» Мусоргского. Точно манифест свободы, гремели по залу слова: «Мы вольные птицы, пора, брат, пора!..»

А «Блоха»...

Вот как описывает Алексей Максимович исполнение «Блохи» Шаляпиным:

«Вышел к рампе огромный парень, во фраке, перчатках, с грубым лицом и маленькими глазами. Помолчал. И вдруг — улыбнулся и — ей-богу! — стал дьяволом во фраке.

Запел, негромко так: «Жил-был король когда-то, при нем блоха жила...» Спел куплет и — до ужаса тихо — захохотал: «Блоха? Ха, ха, ха!» Потом властно — королевски властно! — крикнул портному: «Послушай, ты! чурбан!» И снова засмеялся дьявол: «Блохе — кафтан? Ха-ха! Кафтан? Блохе? Ха, ха!» И — этого невозможно передать! — с иронией, поражающей, как гром, как проклятие, он ужасающей силы голосом заревел: «Король ей сан министра и с ним звезду дает, за нею и другие пошли все блохи в ход».

Снова — смех, тихий, ядовитый смех, от которого мороз по коже подирает. И снова, негромко, убийственно-иронично: «И са-амой королеве и фрейлинам ея от блох не стало мо-о-очи, не стало и житья».

Когда он кончил петь — кончил этим смехом дьявола — публика, — театр был битком набит, — публика растерялась. С минуту — я не преувеличиваю! — все сидели молча и неподвижно, точно на них вылили что-то клейкое, густое, тяжелое, что придавило их и — задушило. Мещанские рожи — побледнели, всем было страшно. А он — опять пришел, Шаляпин, и снова начал петь — «Блоху»! Ну, брат, ты не можешь себе представить, что это было!»

В антрактах в фойе шла бойкая торговля. Дамы продавали цветы, портреты Горького и Шаляпина, фотографии строящегося Народного дома. Сбор от продажи тоже шел в фонд строительства.

К Екатерине Павловне Пешковой подошел Шаляпин:

— Что, Катеринушка, плохо торгуете, а ну-ка, я попробую!

С этими словами он выхватил у Екатерины Павловны корзину цветов и стал рядом с ней. Подошел Алексей Максимович и тоже взял в руки корзину. Тотчас же вокруг них образовалась толпа, — каждому хотелось купить цветок из рук Горького или Шаляпина, а ведь к тому же можно было еще и автограф получить!

В зрительном зале пустили среди публики подписной лист и тут же собрали около двухсот рублей на организацию народной библиотеки-читальни имени Шаляпина, которую хотели открыть на его родине.

Федору Ивановичу объявили об этой затее на товарищеском ужине, который состоялся

после концерта в ресторане «Россия». Шаляпин был растроган. Ужин проходил весело и оживленно. Говорили речи. Когда пришла очередь говорить речь Алексею Максимовичу, он уже поднялся было, приготовился, но вдруг его перебил Шаляпин:

— Ты, Алексей, не умеешь говорить, дай-ка я за тебя скажу!

И Федор Иванович стал говорить, подражая Горькому, окая. Интонации, обороты речи — всё схвачено так точно, что слушатели пришли в восторг. Больше всех веселился Алексей Максимович.

На следующий день нижегородцы проводили Федора Ивановича Шаляпина в Москву. После его отъезда Алексей Максимович писал друзьям:

«Лично Шаляпин — простой, милый парень, умница. Все время он сидел у меня, мы много говорили, и я убедился еще раз, что не нужно многому учиться для того, чтоб много понимать. Фрак — прыщ на коже демократа, не более. Если человек проходил по жизни своими ногами, если он своими глазами видел миллионы людей, на которых строится жизнь, если тяжелая лапа жизни хорошо поцарапала ему шкуру — он не испортится, не прокиснет от того, что несколько тысяч мешан улыбнутся ему одобрительно и поднесут венок славы... Он прожил много, — не меньше меня, он видывал виды, не хуже, чем я. Огромная, славная фигура! И — свой человек».

«Дружище Федор!..»

Шаляпин уехал. Но дружба его с Алексеем Максимовичем все крепла. Через несколько дней после отъезда Шаляпина Алексей Максимович пишет ему вдогонку письмо:

«Дружище Федор!.. меня высылают из Нижнего в Арзамас, на какой срок — пока еще не знаю. А я подал прошение, чтобы разрешили мне ехать в Ялту, вот если ты можешь, то похлопочи, чтоб меня туда пустили».

Шаляпин отвечает Алексею Максимовичу телеграммой: «Милый Лекса вчера получено письмо Святополк-Мирского разрешением тебе ехать Ялту радостью сообщаю декабре буду Петербурге похлопочу дальнейшем крепко как люблю целую... Твой Федор Шаляпин».

Летом 1902 года стало известно, что во время Нижегородской ярмарки на гастроли снова приезжает Федор Иванович Шаляпин. Алексей Максимович пишет ему:

«Дружище Федор Иванович! Как поживаешь? Есть слух, что ты приедешь петь на ярмарку — сообщи, пожалуйста, верно ли это? И если приедешь — когда? Если я буду это знать, так ко времени твоего приезда постараюсь испросить у начальства разрешение побывать в Нижнем и послушать тебя, Соловей Будимирович».

Гастроли Шаляпина начались в середине августа. Как всегда, огромный успех, переполненный театр, нескончаемые аплодисменты, цветы, вызовы на «бис», взволнованная публика. Но ни успех, ни друзья, ни родная Волга не могли разогнать грустное настроение Федора Ивановича. В Нижнем не было Горького, и город казался ему пустым.

Алексей Максимович писал в это время одному из своих друзей:

«В Нижнем — поет Шаляпин, я подал прошение губернатору о необходимости для моего здоровья послушать хорошее пение и с этой целью приехать в Нижний».

Но губернатор не торопился с разрешением, и тогда Алексей Максимович пишет Шаляпину:

«Дружище! Мною послано Унтербергеру прошение о разрешении приехать на неделю в Нижний. Очень хочется увидеть и послушать тебя! Если найдешь время — съезди к губернатору и попроси его скорее разрешить мне поездку. Обещай, что я буду вести себя смиренно и кротко».

Наконец разрешение было получено, и Алексей Максимович приехал в Нижний Новгород. У Шаляпина как раз выдался свободный день. Небольшой компанией отправились пароходиком на Моховые горы в гости к архитектору П. П. Малиновскому. Весь день гуляли в сосновом лесу, катались на лодках, пели. Вечером разожгли над рекой громадные костры. С наслаждением глядел Алексей Максимович, как мечется в ночном воздухе рыжее пламя, рассыпаясь тысячами искр, и жаркие языки его с хрустом и треском пожирают сухие сучья.

— Разжечь костер для меня всегда наслаждение, и я готов целые сутки также ненасытно смотреть на огонь, как могу сутки, не уставая, слушать музыку...— любил повторять Алексей Максимович.

Через несколько дней Шаляпин пел в опере «Фауст». Едва стали гаснуть огни, в зале раздался гром аплодисментов,— в ложе появился Горький. Открылся занавес — и снова овации,— теперь уже Шаляпину — Мефистофелю.

Так весь вечер не смолкали аплодисменты: в антрактах — Горькому, во время действия — Шаляпину. А когда кончился спектакль, вся площадь перед театром оказалась заполненной народом. Давно не видел Нижний Новгород такой демонстрации любви, признательности, восхищения.

За этот год стройка Народного дома значительно продвинулась. Дом был уже почти готов, но не хватило денег на железо для крыши. Громадный каменный четырехугольник высился в поле за тюрьмой.

Достроить его общество, казалось, потеряло надежду. И опять, как и год назад, Горький просит Шаляпина дать концерт в пользу Народного дома, а также в пользу постройки общежития для детей учителей и здания детского санатория.

Все эти дни Горький и Шаляпин снова неразлучны. У Алексея Максимовича в то время квартиры в Нижнем не было, и он поселился в гостинице «Россия» в номере Шаляпина. Позднее в своем произведении «Цветы моей родины» Шаляпин так вспоминал об этих днях:

«Шесть лет назад в Нижнем Горький ночевал у меня в номере. Просыпаюсь и вижу: стоит он у окна в ночной рубашке, раздвинул портьеру и смотрит на дремлющий еще город. Солнце блестит на главах церквей, на речной глади и крышах домов. Говорю ему: — Ты чего поднялся? А он отвечает:

— Поди-ка сюда!

Подхожу и вижу у него на глазах слезы. Я сначала не понял, в чем дело. Он тогда говорит:

— Смотри, что за красота, нет ни души. Вот оно, человечество, сотворившее богов и законы: лежит на земле под небом, а солнце, невинное, как младенец, играет на том, что сделали люди.

Он очень кроток, Горький! Но тогда же я подумал: как он чист, как он честен, как безусловно честен. И теперь при этом воспоминании мне стыдно потому, что я не так чист, как этот чистейший цветок моей родины. Это одна из лучших минут моей жизни, одна из тех, о которых отраднo вспомнить в уединении, когда беседуешь сам с собой». В те дни Горький много рассказывал Шаляпину о сормовичах,— совсем недавно произошла сормовская демонстрация. Многие рабочие были уволены с завода, семьи их голодали. Алексей Максимович познакомил Шаляпина с рабочими. Шаляпин сочувственно отнесся к сормовичам и не раз помогал им.

Однажды в номер к Шаляпину пришла делегация просить о помощи сормовичам и застала там Алексея Максимовича. Горький и Шаляпин тут же вытащили бумажники и отдали буквально все, что у них было, даже мелочь высыпали. В последующие дни Алексей Максимович и Федор Иванович несколько раз передавали деньги для сормовских рабочих.

Но вот подошли к концу дни, которые Алексею Максимовичу было разрешено прожить в Нижнем Новгороде. Полиция потребовала, чтобы он возвратился в Арзамас. С тяжелым чувством расставались друзья. Но разлука их длилась недолго. Срок ссылки Алексея Максимовича оканчивался, и он получил возможность снова поселиться в родном городе. Федор Иванович еще находился в Нижнем. На 3 сентября был назначен его концерт в пользу строительства Народного дома. Концерт организовали в большом зале ярмарочного театра. Как и в прошлом году, он прошел с большим успехом и дал чистого дохода две тысячи семьсот рублей.

После концерта Шаляпин два дня прожил у Алексея Максимовича.

В эти дни он прочитал пьесу «На дне», написанную Горьким в Арзамасе. Алексей Максимович сводил Шаляпина на Миллионку в ночлежный дом, познакомил с босьями. Накануне отъезда пошли в ресторан послушать русский хор. Запевал мальчик лет четырнадцати, худенький, бледный. Песни пели тоскливые, унылые. По лицу Алексея Максимовича катились слезы.

— Нет, так нельзя! — воскликнул Шаляпин, выхватил у одного из музыкантов скрипку, заиграл и запел своим могучим голосом веселый напев. Но веселья в этот вечер не получалось. Грусть, навеянная тоскливой мелодией, жалким мальчиком, словно темным облаком заволакивала все.

5 сентября Горький и Шаляпин уехали в Москву. В Москве они снова все время вместе. Вскоре газеты сообщают, что в первых числах ноября в театре Корша состоится вечер, в котором примут участие Федор Шаляпин, Леонид Андреев, Максим Горький. Шаляпин впервые выступит в роли чтеца. Весь сбор от вечера поступит в пользу Общества взаимопомощи учащихся женщин. На этом вечере Шаляпин мастерски читал отрывки из пьесы Горького «На дне»...

А потом опять лето, опять Нижний... В середине августа Федор Иванович с женой приехал в Нижний Новгород, где в ярмарочном театре должны были начаться его гастроли. Шаляпины поселились на квартире у Пешковых. Как и в прошлые годы, Шаляпин без конца ходил по городу в приподнятом настроении, от души радуясь этой новой встрече с гористыми улицами, зелеными набережными, красным Кремлем. У Алексея Максимовича, как обычно, в доме множество гостей.

«У нас идет какое-то коловращение людей,— писал он в одном из писем.— В день приходит штук по 30 двуногих просить денег, пробовать голоса, смотреть на Шаляпина. Он желает повеситься, мне — плюнуть некогда».

Шумные споры сменялись импровизированными концертами, которые часто затягивались до самого утра. А днем прогулки по Волге, поездки на Моховые горы, песни, костры, костры, костры... Однажды разожгли такие огромные костры, что пламя их было видно из города. Пожарная команда, объявив тревогу, помчалась на перевоз — решила, что на Моховых горах пожар, дачи горят. Шаляпин резвился, как ребенок, и, глядя на него, радовался Алексей Максимович.

— Дурит, как молодой бог,— говорил он, посмеиваясь в усы,— совершенно безрассудный и нелепый парень. Цены себе не знает и не бережет себя нисколько...

Гастроли Шаляпина в ярмарочном театре продолжались до сентября. Федор Иванович договорился с антрепренером, что ежедневно на его спектакли будут оставлять двадцать бесплатных билетов для сормовичей. Правда, места приставные, но рабочие были счастливы услышать Шаляпина. Каждый день двадцать человек пешком мерили двенадцать километров из Сормова до Нижнего и обратно, чтобы услышать и увидеть любимого артиста.

Но вот назначили бенефис Шаляпина. Приставных стульев не хватало не то чтобы для рабочих, но даже для именитых купцов. А сормовичи, не зная об этом, уже мерили по пыльной дороге свои двенадцать километров. Администрация не хотела пускать рабочих в театр, но Шаляпин нашел выход — он провел гостей через артистический подъезд и поставил их за кулисами.

В день бенефиса большая группа студенческой молодежи, которой не по карману были дорогие билеты, договорилась с капельдинером, и он за небольшую плату пропустил их на галерку.

Когда, в антракте, Шаляпину вручали памятные подарки, его внимание привлек небольшой футляр, в котором лежал миниатюрный серебряный веночек с надписью: «Федору Ивановичу Шаляпину от благодарных зайцев». Подарок был от студентов, «зайцами» пробравшихся на галерку. Теперь, выходя на вызовы, Шаляпин прежде всего взглядывал на галерку и посылал приветствия горячо аплодирующим «зайцам»...

Открытие Народного дома

Странное впечатление производила в этот день Острожная площадь. Мрачно высилась темная громада нижегородского острога, медленно и четко шагали вокруг него часовые. А совсем рядом — море огней, нарядные толпы, яркий свет лился из высоких окон нового здания Народного дома, электрические фонари освещали близлежащие улицы, бесконечной вереницей катились экипажи...

«5-го сентября 1903 года в пользу фонда постройки здания Общества распространения начального образования состоится концерт Ф. И. Шаляпина», — извещали афиши и программы с портретами Федора Ивановича.

Шалапин с волнением готовился к предстоящему концерту, составлял программу, то и дело советуясь с Алексеем Максимовичем. Билеты на концерт были распроданы в один день. Федор Иванович потребовал, чтобы часть билетов по дешевке распределили среди учащейся молодежи, рабочих Канавина и Сормова.

Свыше полутора тысяч нижегородцев собрались на открытие Народного дома. Эстраду убрали живыми кленами, соснами, елями, устлали мохом. Казалось, опушка нижегородского леса выбежала на сцену, чтобы приветствовать гениального артиста. Шалапин на сцене. В зале гром и грохот аплодисментов. Председатель комитета по постройке Народного дома преподносит Федору Ивановичу огромный венок из ветвей и цветов.

Перед началом второго отделения на сцену вышел видный общественный деятель, член Общества распространения начального образования, педагог Н. Н. Иорданский.

— Федор Иванович! — сказал он благодарно и взволнованно. — От всей души говорим вам спасибо. Спасибо за то, что вы пришли нам на помощь, когда наших сил оказалось недостаточно, чтобы довести до конца начатое нами сооружение Народного дома. Ваше внимание к нуждам народа выдвигает вас из среды артистов так же далеко вперед, как и ваш могучий талант. Желая запечатлеть в памяти нижегородцев вашу отзывчивость к делу просвещения той среды, из которой вышли вы, мы решили открыть народную школу вашего имени в Нижегородском уезде.

Ничего не ответил Шалапин, только до земли поклонился нижегородцам.

Концерт дал свыше трех тысяч рублей чистого дохода. Это был третий концерт, доход от которого Федор Иванович отдавал в фонд постройки Народного дома. Деньги пришлись как нельзя кстати. Нужно было закончить отделочные работы.

Через два дня Шалапина провожали в Москву. Прощаясь с Алексеем Максимовичем, он обнял его, заплакал и сказал негромко:

— Я у тебя приобщаюсь какой-то особенной жизни, переживаю настроения, очищающие душу... а теперь вот опять Москва... купцы, карты, скука...

Алексей Максимович крепко обнял друга.

— Скоро увидимся... — так же негромко ответил он.

Открытие Народного дома изрядно взволновало нижегородскую полицию. Опять Горький в центре внимания, опять вокруг него молодежь, студенты, сормовичи. Того и гляди, дождешься новых неприятностей. А тут еще близится рождество, и друзья Горького уже в который раз затеяли устроить елки для детей бедноты, ходят по Миллионке, по рабочим окраинам...

Как избавиться от Горького? И в тюрьму пытались сажать, и высылать пробовали — ничего не помогает. Надо убрать! Через несколько дней после открытия Народного дома Алексей Максимович получил письмо, в котором его просили вечером 19 декабря непременно быть на Откосе у обрыва над Волгой: дело, мол, чрезвычайной важности.

В назначенный день и час Алексей Максимович отправился к месту встречи. Он приблизился к обрыву, как вдруг из темноты неожиданно появился человек и бросился на Алексея Максимовича.

— Вы Горький? Тебя-то мне и надо... — невнятно бормотал он.

Сверкнуло лезвие ножа. Удар был так силен, что Алексей Максимович упал на колени. Нож прорезал пальто, тужурку, и не миновать бы смерти, если бы не металлический портсигар, в который он врезался.

Алексей Максимович быстро поднялся и кинулся на бандита. Завязалась борьба.

Неизвестный еще раз ударил Алексея Максимовича ножом и на этот раз слегка поранил бок. Собрав силы, Алексей Максимович скрутил бандиту руки и столкнул с обрыва.

— Не уйдешь! — крикнул незнакомец, катясь вниз.

Алексей Максимович об этом происшествии никуда не сообщил и рассказал лишь самым близким друзьям.

— Был он очень неловок, хотя и силен, — говорил Алексей Максимович. — И торопился очень... А куда торопиться было? Народу вокруг — ни души.

Новые заботы

Отремели оваии, уехал Шаляпин, и в Народном доме поселилась тишина. Опустела и затихла площадь. Лишь изредка слышалось, как перекликаются часовые возле тюрьмы да несколько раз в день отбивает удары тюремный колокол.

На Моховых горах, на даче у Пешковых, собрались друзья. Надо было решать: что делать с Народным домом? Отдавать его в руки какого-нибудь дельца-антрепренера не хотелось.

Алексей Максимович предложил: а не взяться ли самим за дело?

Собрали экстренное заседание Общества распространения начального образования.

Было решено организовать театральное товарищество во главе с Горьким. Этому товариществу и передали Народный дом в полное распоряжение.

С неутомимой энергией принялся Алексей Максимович за организацию нового товарищества, начал вербовать пайщиков. Он не ограничился привлечением в товарищество только нижегородских деятелей. В одном из писем к Екатерине Павловне он писал:

«Народный дом. Мы его не хотим сдавать Басманову, а думаем образовать паевую компанию, составить труппу и — ставить пьесы. Мы — это я, Чириков, Малиновские, Михельсон, Нейгардт, — думаем пригласить в пайщики Шаляпина, Морозова, Алексева, Панину. Артистов, полагаю, найдет Тихомиров и Андреева. Возможно, что мне придется ехать в Москву хлопотать по сему делу».

Алексей Максимович выезжает в Москву. Вскоре среди пайщиков товарищества значатся имена — купца-мецената Саввы Морозова, Станиславского, Немировича-Данченко, режиссера Художественного театра Тихомирова, Шаляпина, артистов Художественного театра Андреевой, Лужского, Лилиной, художника Сапунова, писателей Леонида Андреева, Чирикова и многих, многих других.

Пай — сто рублей. Как по мановению волшебной палочки, у нового товарищества оборотный капитал пятнадцать тысяч рублей.

«Не помню — писал ли я тебе о новой затее — организовать товарищество для эксплуатации Народного дома, как общедоступного театра, — снова пишет Алексей Максимович жене, которая в это время живет в Крыму. — Это — идет. Ездил я в Москву, собрал около 5 т. денег и — представь! — Тихомиров Асаф идет к нам в режиссеры, а вместе с ним несколько учеников и учениц Художественного театра... Предполагается составить ядро труппы из опытных артистов, затем — любители. Пай — 100 р. Я беру 5. Ты — тоже».

Алексей Максимович мечтал создать театр реалистический. Он хотел перенести в Нижегородский Народный театр традиции Художественного театра, который так любил и ценил.

— Художественный театр — это так же хорошо и значительно, как Третьяковская галерея, Василий Блаженный и все самое лучшее в Москве. Не любить его — невозможно, не работать для него — преступление, ей-богу! — говорил Горький.

Согласие возглавить труппу новорожденного театра дал Тихомиров, молодой, талантливый режиссер и актер Московского Художественного театра.

Тихомиров прекрасный педагог, а это так важно для молодежной труппы Народного дома. Обязанность главного художника взял на себя Сапунов, впоследствии один из крупных русских декораторов.

Многие молодые артисты Художественного театра откликнулись на призыв Горького и приехали работать в Нижний Новгород. Московский Художественный театр пожертвовал для нового театра «шестьдесят пудов» декораций, среди них декорации к спектаклям «Дядя Ваня» и «Горячее сердце».

У нового театра не было буквально ничего, потому обстановку и утварь для спектаклей приходилось брать у «доброхотных деятелей». Спектакли шли, как и в Художественном театре, с множеством реалистических деталей. В день спектакля к театру подъезжали подводы, груженные мебелью и прочим реквизитом, доставлялись картонки, коробка, сундуки с гтесудой, лампами, подсвечниками, одеждой.

Каждый из устроителей считал своим долгом лично принести в театр ту или иную художественную «деталь». Друзья театра щедро опустошали свои квартиры. И все это делалось легко, весело, от чистого сердца...

С костюмами тоже было трудно. Костюмерной частью ведала Екатерина Павловна

Пешкова, которая доставала костюмы у знакомых, а у себя дома организовала нечто вроде швейной мастерской. Покупался ситец и другие дешевые ткани. Женская половина товарищества кроила, шила, подшивала, переделывала.

К Пешковым без конца приходили люди, обедали, ночевали, завтракали и ужинали. Люди самого разнообразного вида и образа жизни: писатели и художники, московские актеры и сосланные студенты, мастеровые... Мелькали модные шляпки, рабочие картузы, шапки и платочки. Звонили с «парадного» подъезда, пробирались с «черного хода». Вся труппа нового театра дневала и ночевала у Пешковых. Целый день не убирался со стола самовар. В большой столовой на одном конце стола кто-то завтракал, а на другом уже обедали.

Часто наезжали гости из Москвы, и дом наполнялся музыкой и пением...

Театр в Народном доме открылся 16 декабря 1903 года. Давали пьесу Мея «Царская невеста».

Все напоминало зрительный зал Художественного театра: строгий занавес, без привычной росписи, не поднимался, как во всех театрах, а раздвигался. О начале спектакля публику извещали звонким колоколом.

После «Царской невесты» поставили «Женитьбу» Гоголя, «Тартюфа» Мольера, «Горе от ума» Грибоедова, «Волки и овцы» и «Бесприданницу» Островского, «В старые годы» Шпагинского и другие спектакли. Первое время публика охотно посещала Народный театр, но постепенно стала охладевать к нему.

Политическая цензура, зная, что театр возглавляет поднадзорный Горький, стала чинить ему всяческие препятствия. Разрешали ставить только классические произведения, неоднократно ставившиеся на сцене нижегородского театра. За время существования Народного театра на его подмостках не было сыграно ни одной пьесы Алексея Максимовича Горького. А в это время в нижегородском Николаевском драматическом театре шла пьеса Горького «Мещане», девять раз сыграли пьесу «На дне».

По просьбе Алексея Максимовича Савва Морозов обращался к нижегородскому губернатору, чтобы добиться постановки в Народном театре «Мещан». Но даже он получил отказ.

Многих отпугивало и местоположение театра — глухой пустырь, близость тюрьмы. В партере нет-нет да и стали появляться пустые места. Правда, верхние ярусы всегда заполнены до отказа. Рабочий люд из Сормова и с других заводов тянулся в Народный дом. Ведь здесь можно было не только посмотреть спектакли.

В Народном доме устраивались бесплатные лекции, беседы, литературно-музыкальные концерты. При Доме организовали библиотеку, читальный зал, дешевый буфет. Но так как места в театре дешевые — от пяти копеек до полутора рублей, — с каждым днем было все труднее покрывать убытки. Скоро всем стало ясно, что театр придется закрыть. 1 мая 1904 года, то есть через пять месяцев после открытия, был дан последний спектакль и труппа распущена.

Алексей Максимович тяжело пережил ликвидацию театра. Он писал:

«В Нижнем — очень красиво, но грустно. Ликвидировали мы театр в Народном доме...»

Так закончил свое существование один из самых оригинальных, самых интересных народных театров России. Однако, несмотря на свое недолгое существование, он оставил глубокий след в нижегородской общественной жизни.

В тревожные и мятежные дни 1905 года Народный дом был превращен в революционный клуб. Здесь проводились митинги, собрания, читались политические лекции. Здесь же помещался штаб боевой дружины.

А после революции в Народном доме долгое время находился крупнейший в городе кинотеатр и библиотека. В 1935 году здание было перестроено. Сейчас здесь Горьковский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина.

Шалапинская школа

А что же школа имени Шалапина? Вот какова ее история.

Открыта она была в 1904 году в селе Александровке, неподалеку от Нижнего Новгорода, в здании бывшей старой дачи.

Организатором ее был проживающий в селе Александровке отставной штабс-капитан

Степанов, человек демократических взглядов. А помогал школе Алексей Максимович. Помогал и деньгами и книгами.

В школу записались дети не только из Александровки, но и из соседних деревень: Дубенок, Мордвинцева, Анкудиновки. Поначалу думали принять тридцать учащихся, а приняли шестьдесят.

Школа эта была не совсем обычной. Степанов приобрел много наглядных пособий, купил проекционный, или, как его тогда называли, «волшебный» фонарь. В школе часто показывали «туманные картины». Смотреть их собирались не только ребята, но и взрослые. Детей водили в Нижний Новгород на экскурсии, в музеи, в театр на спектакли. В школе часто ставили живые картины, разыгрывали детские пьесы.

Федор Иванович Шаляпин любил «свою» школу и помогал ей. Он не только давал деньги, но и посылал ребятам всевозможные подарки. А однажды прислал в школу свой портрет с надписью:

«Искренние пожелания милым деткам шаляпинской школы. «Да здравствует Солнце, да скроется тьма». Федор Шаляпин. 25 декабря 1906 года».

В 1907 году было закончено строительство нового школьного здания. Увеличилось число учащихся. В школе ввели бесплатные завтраки, а самым бедным бесплатно выдавали одежду.

Все шло прекрасно. Но очень уж эта школа была непохожа на другие казенные школы. И нижегородские власти затревожились — не кроется ли здесь какая крамола?! В школу с обыском нагрянула полиция. Хотя ничего предосудительного не нашли, но Степанова и других учителей от работы в школе отстранили. Только после энергичных хлопот самого Шаляпина Степанов снова встал во главе школы.

Шли годы, а Шаляпин не забывал «своей» школы. Однажды августовским днем 1909 года в Александровке неожиданно появился автомобиль. О, какое это было чудо! В те годы и в городах-то автомобиль был редкостью, а уж в селе это и вовсе невиданное зрелище! Что же оказалось? Федор Иванович приехал в Нижний Новгород с единственной целью посетить «свою» школу.

Он осмотрел здание, познакомился со школьной библиотекой, наглядными пособиями, встретился с ребятами, всех оделил подарками и гостинцами. А потом вместе с учениками и учителями отправился в лес на прогулку.

Слух о том, что приехал Шаляпин, быстро разнесся по окрестным деревням. В Александровку потянулись вереницей люди... После прогулки Шаляпин решил дать ученикам школы большой концерт. А так как здание школы не могло вместить всех желающих его послушать, то открыли настежь окна. Огромная толпа заполнила школьный двор, улицы и даже опушку леса. Кого тут только не было — и старики, и женщины, и малые дети!

Шаляпин пел долго. Пел русские песни, грустные и разудалые, веселые и протяжные. Он вышел из школы, и концерт завершился в лесу. Гремела «Дубинушка», казалось, листва шевелилась от мощного шаляпинского баса.

— Эй, ухнем! — подхватывали крестьяне. «Эй, ухнем!» — вторило эхо.

Концерт закончился поздно ночью. Прямо с концерта Федор Иванович уехал в Москву. А ровно через год, когда в нижегородском ярмарочном театре шли гастроли Шаляпина, он опять посетил «свою» школу. Снова прогулки с детьми, подарки, а вечером праздник — большой концерт.

Уезжая из Александровки, Шаляпин пригласил крестьян в ярмарочный театр.

На следующий день Федор Иванович явился к антрепренеру и попросил оставить шестьдесят — семьдесят мест в партере для александровских крестьян. Антрепренер поначалу воспринял это как веселую шутку. Но Федор Иванович не шутил. Услышав, что все билеты давно распроданы, он пришел в ярость, глаза его потемнели.

Антрепренер не знал, что делать: ведь билетов нет не только в партер и на галерку — распроданы все приставные и «стоячие» места! В театре, как говорится, яблоку негде будет упасть. К тому же на концерте должна присутствовать вся городская знать, именитые купцы и вдруг... семьдесят мужиков! Шаляпин вспылел.

— Я говорю вам, что у меня гости будут! Я гостей пригласил! — возмущенно говорил он. А гости, принарядившись в свои лучшие одежды, с утра, большой пестрой толпой, уже шли пешком из Александровки в Нижний Новгород, через Оку, на ярмарку, в театр.

— Нет места моим гостям, не буду петь! Отменяется концерт! — решительно и гневно крикнул Шаляпин и, хлопнув дверью, вышел. Антрепренер выскочил за ним.

— Голубчик, Федор Иванович, вернитесь, что же делать-то? Господи, что делать?.. — лепетал он побелевшими губами.

Но Шаляпин был непреклонен.

— Отменить концерт! — повторил он.

Антрепренер потерял голову. Отменить концерт Шаляпина! Это значило потерять три тысячи чистого дохода. А скандал? Нет, это невозможно!

Концерт состоялся. Но что это был за концерт!

На сцене полукругом сидели на стульях, а то и прямо на полу крестьяне. Седые, бородатые старики, женщины с детьми на руках, молодежь, ученики шаляпинской школы. Разместил Федор Иванович своих гостей!

Концерт был большой, из трех отделений. После каждого номера на сцену летели букеты цветов. Шаляпин поднимал их, передавал крестьянам и улыбаясь спрашивал: — Ну как, братцы, нравится?

В антракте за кулисы рвалась расфранченная публика. Но Шаляпин не обращал на них никакого внимания и разговаривал только со своими гостями — крестьянами.

Нижегородская знать была возмущена, шокирована. Но талант Шаляпина заставлял забыть все обиды. На следующий день газета «Нижегородский листок» писала:

«А как кстати на сцене у кулис сидели крестьяне «шаляпинской деревни» Александровки и ученики его школы! Без сомнения, в этом не было никакого умысла, но какая великолепная декорация для концерта Шаляпина».

Это была последняя встреча Федора Ивановича с учениками шаляпинской школы. Но он по-прежнему продолжал следить за ее судьбой и оказывать материальную помощь.

В апреле 1917 года Шаляпин прислал Степанову свой портрет с надписью:

«Милый Григорий Николаевич! Будем счастливы надеждой, что наша дорогая Родина будет радостно петь гимн солнышку и дорогой свободе. Ф. Шаляпин. 11 апреля 1917 г.».

Ныне Александровка находится в черте города Горького. На месте старой школы построили новое, большое, светлое здание. Школа № 140 имени Федора Ивановича Шаляпина. А рядом со школой обелиск — в память ее основателя Г. Н. Степанова.

В школе открыт музей Шаляпина. Его с интересом посещают не только горьковчане, но и туристы, приезжающие из разных городов, из разных стран.

Эту главу хочется закончить словами Алексея Максимовича Горького: «...В русском искусстве Шаляпин — эпоха, как Пушкин».

На катке

День выдался удивительный! Голубой, морозный, солнце светило ярко, сверкали серебряные от инея ветки деревьев. Лед на катке казался зеленоватым стеклом.

Настроение у всех, кто отправлялся сегодня на каток, было такое же праздничное и веселое, как этот яркий зимний день.

В Нижнем Новгороде на Звездинском пруду секция гигиены и воспитания впервые открывала детский бесплатный каток. Один из инициаторов этого праздника — Алексей Максимович Горький.

К одиннадцати часам утра густая толпа ребятишек, одетых в «мамкины» и «тяткины» лохмотья, собралась возле теплушки, построенной на катке. Взволнованны лица, глухой говорок стоит над толпой. Что-то будет?

— Коньки-то насовсем давать будут... — говорит один из ребят.

— И гостинцев дадут! — важно добавляет девочка.

Пришли члены секции, и началась раздача коньков. Мальчишки бросились вперед, толкая друг друга. Они поднимали худые грязные руки:

— Барыня! Мне! Мне! Барыня, меня запишите! Меня!

Алексей Максимович с грустью смотрел на маленьких славных людей.

Коньков-то у секции всего лишь тридцать пар, а ребятишек многое множество, и как не пожалеть тех, кто повесив нос отошел в сторонку, покорно дожидаясь, пока другие накатаются.

Вдруг маленький гимназистик, взглянув на своих сверстников, уныло расхаживающих по

льду в ожидании свободных коньков, снял свои коньки и отдал их даме-распорядительнице.

— Отдайте, пожалуйста, кому-нибудь...— вежливо попросил он.

И тут же головастый мальчик лет семи от роду, в красной рубаше и курточке без пуговиц, привязал коньки к валенкам и, с трудом двигая ногами, не вышел — выполз из теплушки на лед. Опустился на четвереньки, окинул публику торжествующим взглядом.

— По-ехалль! — радостно воскликнул он.

В его синих глазах столько радости и гордости, словно никогда не знал он ни холода, ни голода, ни побоев.

Веселая музыка огласила морозный воздух. На катке играл бесплатный оркестр.

Музыканты мерзли, ежась от холода. Маленький черноглазый барабанщик то и дело совал в рот озябшие пальцы и с завистью поглядывал на лед — ему тоже хотелось покататься. Он бросал свой барабан и бежал к распорядителям, но свободных коньков все не было и не было.

А девочка, что утверждала, будто дадут гостинцы, худенькая и черноглазая, видя, что до нее еще не скоро дойдет очередь, громко разревелась...

И все-таки весело было в этот день на катке!

Науро в «Нижегородском листке» можно было прочитать:

«Быть может, найдутся люди, которым будет приятно сделать удовольствие бедным детям?.. Нет ли у кого старых коньков? Или не найдется ли людей, которые дали бы на коньки? В этом мало пользы? О, да! Но — в этом много удовольствия и радости для детей, и, право, не грех доставить им, жителям тесных чердаков и сырых подвалов, возможность покататься по льду на чистом зимнем воздухе.

Буде найдутся люди, которым понятно это, пусть они пришлют коньки или деньги в редакцию «Нижегородского листка» или в квартиру А. М. Пешкова (Полевая ул., д. Курепина)».

Почти каждый день то утром, то вечером появляется Алексей Максимович на катке, среди веселящейся детворы. По-детски радовался он каждой новой паре коньков, принесенных в редакцию, и, забрав их, немедленно отправлялся на каток. Маленькие посетители катка хорошо знали Алексея Максимовича и радостно приветствовали его появление.

Ёлки

В 1928 году, путешествуя по Советскому Союзу, Алексей Максимович приехал в город Балахну, Нижегородского края. К нему подошел высокий, статный мужчина и, протянув руку, сказал неторопливо, ласково улыбаясь:

— Не узнаете, товарищ Максим Горький? Трудненько вам меня узнать... Двадцать пять лет не виделись. Помните, в 1903 году устраивали вы для ребятишек елку? Там тогда хор выступал. Вот я в хору дискантом пел, вы мне тогда еще валеночки подарили.

— Как же, как же, помню! И елку, и хор помню...— ответил Алексей Максимович, и глаза его повлажнели. Он задумался. И потом целый день был молчалив и задумчив.

Наплывали воспоминания...

Правда, как давно все это было! Да и было ли? Но ведь есть люди, которые вот уже сколько лет помнят об этом. Не забывается праздник, ворвавшийся в грустные, серые, тяжелые будни.

Алексей Максимович снова и снова возвращался памятью к минувшим годам...

Впервые мысль организовать елки для бедных ребятишек пришла Алексею Максимовичу в 1899 году. Приближалось рождество. В городе царило предпраздничное оживление. В витринах магазинов сверкали елочные украшения, ватные деды-морозы заманчиво сжимали в руках пестрые мешочки с подарками, на улицах весело и звонко пахло хвоей. А тысячи ребят нижегородской бедноты никогда не видели в своих домах зеленого праздничного деревца. Алексей Максимович хорошо знал, что такое детство, лишенное радости...

В «Нижегородском листке» появляется статья, подписанная «Обыватель».

«Скоро наступят праздники. Наши дети — дети более обеспеченной части городского населения — получают подарки; для многих из них устроятся елки; они будут посещать театр, концерты и получают всевозможные удовольствия.

Но как проведут праздники дети необеспеченной части городского населения, дети полуодетые, полуобутые, голодные, живущие в сырых, грязных и холодных помещениях, вечные свидетели и участники тяжелой безысходной борьбы за самое жалкое и скудное существование? Кто позаботится о них, кто, хотя чем-нибудь, придет им на помощь в их самых существенных нуждах, кто даст им теплую обувь, платье, кто их накормит, хотя бы раз в году, досыта, а тем более, кто, хотя каким-нибудь удовольствием, скрасит их безотрадную жизнь?

Вспомним все это и устроим, по мере сил, праздник для детей наших обездоленных братьев! Я покорнейше прошу редакцию открыть подписку на елку для бедных детей. На собранные средства, а они несомненно будут собраны,— можно будет во время праздников устроить елку с раздачей бедным детям обуви, белья, теплого платья и всего того, что предстается возможным; можно будет накормить их сытным обедом...»

В редакцию «Нижегородского листка» и на квартиру к Пешковым стали поступать пожертвования — вещи, продукты и деньги. На столах, стульях, диване — куски ситца, бумагеи. Строчит швейная машинка. Екатерина Павловна Пешкова и ее друзья без усталости шьют детские рубашки, платья, мешочки для подарков. Всюду ящики, коробки, картонки.

Алексей Максимович — главный зачинщик предстоящего праздника — неумоимо хлопочет. Он добивается от городских властей разрешения на елку, готовит помещение, добывает деньги. Еще забота — как найти среди нижегородской бедноты пятьсот самых бедных, самых обездоленных ребятшек?

Наконец приготовления окончены. 4 января 1900 года в здании городской думы состоялась первая горьковская елка.

Пятьсот ребятшек нетерпеливо толпились у дверей залы. Бледные, грязные, с лицами морщинистыми, как у старичков, в рваных и длинных, не по росту, одежках, они переминались на коротких, искривленных рахитом ногах, с волнением ожидая, когда распахнутся двери залы.

Двери открылись, и невиданное зрелище предстало перед детьми. Огромная елка, празднично разубранная, сверкала огнями. Длинные столы с подарками. Гости растерялись, они кружились по залу нестройным пестрым потоком, переговаривались, покашливали грустно и жалобно. Потом вдруг умолкли. Какая-то недетская степенность и сдержанность появилась в их движениях. Только глаза, жадные и строгие, выдавали волнение.

Внимание Алексея Максимовича привлек маленький семилетний человечек с огромным, вздутым животом. «Видно, ест все больше хлеб с водой или пустую картошку,— подумал Алексей Максимович.— Челюсть кривая, рот кривой, белые губы. Зубы крупные и неправильные. А серые глаза так смотрят, будто прожил мальчик на земле не семь лет, а семьдесят».

Алексей Максимович подошел к нему.

— Как зовут тебя? — спросил он.

— Андрюша...

Андрюша был такой маленький, что Алексей Максимович, опасаясь, как бы его не раздавили в толпе, поднял мальчика на руки и посадил на стул, спиной к елке. Андрюша медленно повернулся, взглянул на елку и, деловито шмыгнув носом, тихо спросил:

— Гостинцев, слышь, дадут?

— Дадут! — весело ответил Алексей Максимович.

Андрюша молча кивнул головой. Он сидел на стуле, крепко держась за него руками, и серьезно, не мигая, смотрел, как в дверь один за другим входили ребятшки. Алексей Максимович хотел еще о чем-то спросить его, но в этот момент какая-то девочка, видно испугавшись чего-то, заревела истошным голосом: «К ма-ме ме-еня-а!» — и Алексей Максимович кинулся к ней. Он взял ее на руки, пошел с ней к елке, обещал гостинцев дать, подарить материю на платье. Девочка умолкла, доверчиво прижавшись к нему.

— Много гостинцев дашь? — деловито спросила она.

— Мешок...

— И на платье дашь?

— И на платье...

Она вздохнула, помолчала и снова спросила:

— Не обманешь?

У Алексея Максимовича горестно сжалось сердце. «Шесть лет от роду,— подумал он,— а уже знает, что люди могут обмануть!» Заверив девочку, что сдержит свое обещание, он спустил ее с рук и пошел по залу.

Перед ним возник рыжий, вихрастый мальчонка. Важно заложив руки за спину и поводя курносый носом, он стоял неподвижно, как столбик, только глаза бойко бегали.

— А тебя как зовут? — спросил Алексей Максимович.

— Петькой зовут! А что? — развязно ответил мальчик.

— Так... Грамотный?

— Нету...— И вдруг тревожная тень пробежала по его лицу.— А разве только грамотным гостинцев дадут?— обеспокоенно спросил он, и в голосе его зазвенели слезы.

— Нет, нет, всем дадут...— поспешно ответил Алексей Максимович, боясь, что гость разревется.— А ты с кем пришел?

— Один...

— Мать-то есть у тебя?

— Пьяная она сегодня...

Алексей Максимович оглянулся — слышали ли другие ребята? Но никто не обратил внимания на Петькины слова: эка невидаль — мать пьяная! Этим детям хорошо знакомы и пьяные побои, и ругань, и крики.

Началась раздача подарков,— подарки щедрые: пирог, мешок гостинцев, сапоги, рубаха или платье, кофта, шапка, платок. И снова дети растерялись: одни от радости плакали, другие, прижимая к себе свои сокровища, бросились бежать — а вдруг отнимут? Третьи, усевшись тут же, на полу, стали жадно поедать сладости.

Алексей Максимович глядел на них и не мог удержать слез. «Что будет с этими детьми? Кому из них суждено в ближайшие годы умереть от кори, тифа, скарлатины, дифтерии, холеры? А кому от холода, голода и грязи? А те, кто выживет, кем они станут?

Пьяницами, ворами? Или вьючными животными, как их отцы»,— думал он.

Страшная российская действительность никого не щадит. Много надо иметь сил, чтобы не сломаться, не погибнуть, остаться человеком. Человеком с большой буквы!

Он провел широкой ладонью по мокрому лицу, вытер слезы, оглянулся.

В воздухе мелькали пестрые конфетные бумажки. Раздавалось веселое шелканье орехов.

— У тебя сколько конфет в мешке? — услышал Алексей Максимович.

— Шашнадцать! Здорово дают, черти!

Алексей Максимович улыбнулся и подошел к двум татарчатам. Они сидели на полу и примеривали полученные в подарок сапоги. Одному из них сапоги оказались малы. Он грустно вертел их, оглядывался, словно искал кого-то. Мимо прошел мальчуган с большими ботинками под мышкой. Татарчонок остановил его. Алексей Максимович видел, как они о чем-то деловито разговаривают, торгуются — и вот ботинки уже на ногах татарчонка, а сапоги в руках русского мальчугана.

«Но ведь это лишь ничтожная часть бедноты нашего города,— думал Алексей Максимович.— А сколько их таких по всей России?! Им не в чем ходить в школу, не на что купить книги. А как помочь тем, кто постарше? Кто трудится изо всех своих маленьких сил, чтобы принести в дом лишнюю копейку...»

В следующем году Алексей Максимович решил устроить елку на тысячу человек. Уже седьмого ноября он писал в «Нижегородском листке»:

«Дети будут собраны с окраин в возрасте от 6 до 12 лет. Хочется всем им дать какой-либо существенный подарок и устроить хороший, радостный день для них. Нет сомнения, что добрые люди города отнесутся к этой затее так же хорошо и горячо, как они отнеслись в прошлом году».

Но «добрые люди» не торопились жертвовать деньги. Сбор средств шел медленно, купцы-толстосумы не желали раскошелиться. Алексей Максимович пишет в Москву писателю Телешову:

«Николай Дмитриевич — спасайте! Ибо — погибаю! Успех прошлогодней моей елки, устроенной на 500 ребятишек из трущоб, увлек меня — и в сем году я затеял елку на 1000! Увы — широко шагнул! Отступить же — поздно! Прошу, молю, кричу — помогите оборванным, голодным детям — жителям трущоб! Николай Дмитриевич, пожалуйста,

собирайте все, что дадут: два аршина ситцу и пяточок, поларшина бумазеи и старые сапоги, фунт конфект и шапку — всё берем! Всё!»

Одновременно он посылает письмо Константину Сергеевичу Станиславскому: «Дорогой Константин Сергеевич! Я к Вам — с просьбой о помощи. Вот в чем дело: «по примеру прежних лет» затеял я в этом году елку на 1000 человек детей самого несчастного качества, т. е. для трущобных жителей в возрасте от 6 до 12 лет, и лишь для тех, которые в школах не учатся и ни в каких елках не участвуют. Самый обор! И, кажется, я провалился. В прошлом году елка у меня была на 500, и пожертвований хватало, а в этом — увы! По сей печальной причине прошу и умоляю Вас — походатайствуйте пред С. Т. Морозовым о помощи нам, нижегородцам. Не может ли он, милостивец, дать нам тряпочек для подарков на штанишки и рубашонки детям? «Всякое даяние благо», даже и кредитная бумага. Постарайтесь, дорогой Константин Сергеевич, а то мы будем поставлены в смешную необходимость дать голодным и голым детям — по конфетке только. Умоляю».

Телешов и Станиславский откликнулись на просьбу Горького и организовали в Москве сбор средств. От купца Саввы Морозова поступило большое количество ситцев. В Нижнем сборщики пошли по купеческим домам. К самым тугим толстосумам стучался сам Алексей Максимович — и всегда с успехом. Горькому не отказывали.

Опять на квартиру Пешковых стали поступать пожертвования: продукты, ящики с конфетами. Снова дом полон людей,— шили, кроили, упаковывали. На полу вороха полушубков, валенок, шапок.

Чтобы на елку попали все бедные дети Нижнего, студенты и учащиеся разбили город на участки и обходили квартиры, углы, лачуги. Они наводили справки о заработке родителей, спрашивали, какие вещи больше всего нужны детям. Переписчиков поначалу встречали недоверчиво, боялись подвоха. Но когда узнавали, что пришли они от Максима Горького, сомнения мгновенно исчезали. Имя Горького хорошо знала нижегородская беднота. Иные, правда, спрашивали:

— Говорят, это какой-то Горький делает для бедных людей? Миллионщик, слышь? Алексей Максимович тоже ходил по квартирам. Он и Скиталец взяли себе самый тяжелый участок — Миллионку.

С утра до позднего вечера ходили по улицам, спускались в подвалы и трущобы. Низкие и темные помещения с заплесневевшими, сырими стенами напоминали звериные берлоги. Мебели не было никакой, на земляном полу куча соломы и грязные лохмотья. Увидев чужих, испуганные полуголые дети как тараканы расползались по углам. Им вручали билет на елку и на подарки. Некоторые матери от радости плакали, другие пытались целовать руки благодетелям, третьи стояли молча, точно окаменев, не мигая глядя на голодных детей, на билеты, зажатые в их кулаках, на неожиданных посетителей. Алексей Максимович выворачивал карманы и отдавал беднякам все, что у него было с собой. А в следующем подвале забирал все, что находилось у Скитальца... Сколько раз, выбегая из страшной берлоги, где как звереныши жили дети, Алексей Максимович не мог удержаться и судорожно рыдал.

Беспризорных переписывали прямо на улицах. Стоило появиться обходчику, как к нему из-под всех заборов и подворотен стайками слетались оборванные ребятишки. На вопрос студента-обходчика, куда принести билет, ребята бойко отвечали:

— Да ты уж только на нашу улицу приходи, мы тебя сами найдем! Когда у ребят спрашивали, где они живут, многие из них молчали — не было у них дома! Голодные, полураздетые, даже в самые лютые морозы они часами дежурили на улицах — только бы не пропустить обходчика и получить билет на долгожданную елку!

Билеты полагались детям от шести до двенадцати лет, но нередко обходчикам приходилось кривить душой. Как могли они поступить иначе, когда оборванный и голодный мальчуган тринадцати-четырнадцати лет со слезами на глазах уверял, что ему всего только одиннадцать! Ну и записывали его как одиннадцатилетнего...

Там, где нищета была вопиющей, валенки и теплые вещи вручали тут же, не дожидаясь праздника.

Революционно настроенные студенты использовали работу обходчиков в своих целях. Обходы давали возможность легально посетить большое количество рабочих квартир, познакомиться с жизнью их обитателей, завязать нужные знакомства, взять на заметку

людей, которые могут со временем принести пользу...

Настал долгожданный день 4 января 1901 года. На этот раз елку устроили в Кремле, в здании военного манежа. Ребят разбили на сорок восемь отрядов — по районам,— так они и пришли под водительством своих обходчиков, тысяча двести человек.

Стройным маршем, под звуки военного оркестра, шел отряд вокруг елки со своим знаменем — флажком. Огромная, зеленая, уходя под самый потолок, елка блестела сотнями разноцветных лампочек.

Дети с Миллионки шли под красным флагом. Во главе отряда — Алексей Максимович. Эти ребята с чувством превосходства поглядывали на других,— их привел сам Горький! А между тем именно этот отряд поначалу вызывал у Алексея Максимовича большие опасения. А вдруг беспризорные ребятишки затеют драку, станут обижать слабых «чистых» детей? Или воришки-профессионалы начнут отнимать у соседей подарки? Но все обошлось благополучно.

Алексей Максимович не мог не дивиться тому чувству собственного достоинства, с которым вели себя маленькие босяки. Правда, они не скрывали своего пренебрежения к «чистым отцовским» детям, нет-нет да и отпускали в их адрес критические замечания, но, в общем, все обошлось благополучно.

Несколько ребятишек, видно самых голодных, съели «по ошибке» чужие калачи, но калачей было так много, что хватило и на обиженных.

А вот когда стали раздавать подарки, без слез не обошлось. Многие ребята, получив в подарок валенки, стали тут же надевать их. Но жесткие новые валенки не налезали на обмороженные, распухшие ребячьи ноги. Особенно огорчились «переростки», незаконно попавшие на елку. Бедные ребята так надеялись, что уйдут отсюда обутыми, и вдруг... Не меньше ребят был расстроен и Алексей Максимович. Чуть не плача, он успокаивал их, подбирал, менял им валенки.

Кроме валенок, каждый ребенок получил кусок материи на костюм или на платье, мешок со сладостями, игрушки, карандаши, ручки, тетради. Гостей напоили сладким чаем с калачами.

Алексей Максимович весь вечер не отходил от своего отряда. Разговаривал, шутил, смеялся, пел вместе с ребятами, маршировал под музыку.

Странный это был праздник. Возбужденные детские голоса, счастливые возгласы, смех,— а лица бледные, изможденные, одежда рваная, залатанная, изношенная обувь, из которой торчат голые обмороженные пальцы. Головы кудрявые, вихрастые, не знавшие ни гребенки, ни ножниц. А глаза светятся радостью...

Алексей Максимович то и дело хватал какого-нибудь малыша на руки, поднимал его, показывал елку, что-то объяснял, гладил по голове. По лицу его не переставая текли крупные слезы. О чем вспоминал он в эти минуты? Может, вставало в памяти собственное детство, безрадостное и тяжелое?..

Горьковские елки вошли в традицию у нижегородцев. Их устраивали и после отъезда Алексея Максимовича из Нижнего.

Маленькие друзья

Алексей Максимович всегда любил детей. Сам еще маленький, лет десяти, он нянчил своего братишку, который умер в младенчестве. А когда стал постарше, собирал по праздникам ребятишек со всей улицы и уходил с ними на целый день в лес.

Детей собиралось много, человек шестьдесят. С утра до вечера бегали они по лесу, играли и, случалось, к вечеру некоторые так уставали, что не было у них сил идти домой пешком. Алеша Пешков смастерил на этот случай специальное кресло, привязывал его себе на спину и, усадив уставших ребят, тащил через поле до самого дома.

В Нижнем на Мартыновской улице (ныне улица Семашко) возле дома Киршбаума, где жил Алексей Максимович, находилась большая площадка для игр. Там собирались ребята со всего квартала. Приходил сюда и сын Алексея Максимовича — Максим.

Дети играли в чижа, лапту, городки. Но вот среди детворы появлялась высокая, чуть сутулая фигура Алексея Максимовича. Поначалу ребятишки немного дичились «большого папу», но Алексей Максимович с таким увлечением принимал участие в их играх, бегал, смеялся, ликовал при каждом хорошем ударе, что смущение быстро исчезало, и хотелось

сразиться с «большим папой».

Играя в городки, Алексей Максимович вставал один против детворы. Как было весело! Но главное веселье начиналось в конце игры.

Проигравшие должны были на себе прокатить победителей. Бывало, выиграет Алексей Максимович и смеется:

— Как же я, такой большой, на таких маленьких поеду?..

После игр Екатерина Павловна зазывала ребят домой, поила чаем. Часто среди них бывали и незнакомые. Алексей Максимович расспрашивал ребят, как они живут, что читают, давал книги, а когда встречался с ними снова, обязательно узнавал — понравилась ли книжка?

Иногда всей ватагой отправлялись на Откос, усаживались на лавочках, и Алексей Максимович часами рассказывал ребятам о Волге, о бурлаках, о старинных барках и баржах, о людях, что живут по берегам великой русской реки.

С реки налетал легкий ветер, облака медленно бежали по небу. Ребятишки с неотрывным вниманием слушали и слушали неторопливую, окаящую речь Алексея Максимовича:

«— И вот — река Волга-матушка, братец ты мой! Ширины она огромной, глубока, светла и течет... как будто в грудь тебе течет... до чего хорошо, когда лежит перед тобою широкий путь водный, солнышком озолоченный. И бегут по нем, как лебедя, косовые лодки грудастые, однокрылые, под одним, значит, белым парусом. Золотые беляны с тёсом вальяжно, как дворянки в кринолинах, не спеша спускаются; тут тебе мокшаны и коломенки, и разного фасона барки да баржи, носа свои пестрые вверх подняв, весело бегут по синей реке, как на бархате шелком вышиты...

Идешь ты на барже, а встречу тебе берега плывут, деревни, села у воды стоят, лодки снуют, словно ласточки, рыбаки снасть ставят, по праздникам народ пестро кружится, бабьи сарафаны полымем горят — мужики-то поволжские сыто живут, одеваются нарядно, бабы у них прирабатывают, деньги — дороги, одежда — дешева! Взглянешь, бывало, на берег, вспыхнет сердце — загогочешь во всю силу — эй, вы, жители! Здорово ли живем? Бечевой бурлаки согнувшись идут, как баранки на мочало вздетые, — маленькие они издаля-то! Песни гудут, ровно бы большущие пчелы невидимо летят. А ночью — потемнеет река, серебрится месяцем, на привалах огни засветятся, задрожат на черной-то воде, смотрят в небо как бы со дна реки, а в небе — звезды эти наши русские, и так мило все душе, такое все родное человеку! Обнимает Волга сердце доброй лаской, будто говорит тебе: «Живи-де, браток, не тужи!..»

А бывало и так.

Выйдет из дома Алексей Максимович, а на противоположном тротуаре поджидает его стайка ребятишек. Едва завидев Алексея Максимовича, они всей ватагой кидаются к нему и, подталкивая друг друга, выпихивают вперед какого-нибудь красного от смущения паренька. Это их гордость — юный поэт или прозаик.

«Писатель», босой, грязный, стоит испуганный, шмыгает носом и прячет за спину мятые листки. Алексей Максимович всегда ласково встречал новый талант, вел ребят к себе, наделял их конфетами, внимательно читал каракули, хвалил, подбадривал. А на прощание обязательно давал книги, советовал как можно больше читать и лучше учиться.

Говорят: любить — это помогать. Алексей Максимович любил детей и потому делал все, чтобы облегчить их тяжкую жизнь, чтобы доставить им хоть немного радости.

Он открывал для них библиотеки, организовывал сбор наглядных пособий для начальных школ, устраивал любительские спектакли, где актерами были сами дети, писал для ребят пьесы.

А сколько денег жертвовал он на организацию детских площадок и детских санаториев! Алексей Максимович понимал, что только радикальное изменение существующего строя в России сможет изменить тяжкую жизнь детей трудящихся. Но он понимал и другое — именно им, нынешним детям, предстоит завоевывать завтрашний день, бороться за революцию. Значит, надо сделать все, чтобы росли они здоровыми, сильными духом. И Алексей Максимович делал все, что было в его силах.

По сей день живы люди, которые с благодарностью вспоминают добрую заботу Алексея Максимовича. Они говорят о том, что не знают, как сложилась бы их жизнь, да и удалось ли бы им выжить, если бы не щедрая, вовремя протянутая горьковская рука!